


распятияе



распятые



**Писатели —
жертвы
политических
репрессий**

АВТОР-СОСТАВИТЕЛЬ

Захар Дичаров

ВЫПУСК 1

Тайное становится явным

**Историко-мемориальная комиссия
Союза писателей
Санкт-Петербурга**

**Санкт-Петербург
«Северо-Запад»**

1993

ББК 83
Р 24

«...Пишу о мертвом поколенье,
о людях, смолкших навсегда».

Елена Владимирова

«Число арестованных и убитых писателей и художников было столь велико, что в 1939 году русская мысль, литература и искусство казались территорией, подвергшейся жесточайшей бомбардировке...»

Исайя Берлин

Р 24 **Распятые. Писатели — жертвы политических репрессий** / Захар Дичаров — авт.-сост. — СПб.: Северо-Запад, 1993. — 239 с. ISBN 5-8352-0186-9

В этой книге речь идет о писателях, ставших жертвами политических репрессий. Не всех из них поразила пуля палача. Для одних конец наступил вслед за приговором, для других потянулись годы страданий в тюрьмах, в лагерях, в ссылке, которая и официально именовалась вечной...

МОЛЧАТЬ НЕЛЬЗЯ!

«Сломав запрет, усталость пересилив,
Пройду страну отсюда до Москвы,
Чтоб нас с тобой однажды не спросили:
„А почему молчали вы?“»

Елена Владимирова

Мы слишком долго молчали. Это так. Елена Владимирова, колымская узница, в стихах, написанных за колючей проволокой, обращает свой вопрос и к тем, кого уже нет, и к тем, кто еще жив.

Ее вопрос — к нам, к нашему времени.

Мы слишком долго молчали. И даже в пору гласности, когда скорбная память о жертвах сталинизма возвала к нам, живым: «Мы были. Помните ли вы о нас?», мы еще долго-долго собирались начать. Почему? Так не жжет ли наши души сегодня великий стыд?!

Да, недопустимо затянулось создание этой книги. Не дождавшись ее появления, ушли из жизни многие, кто мог бы вспомнить, рассказать и о себе и о тех, кто долгие годы разделял с ними участь арестанта. Вспомнить и рассказать об их творчестве, страданиях, которые пришлось пережить, горькой участи не только в местах заключения, но и после, когда пришла будто бы воля с бесконечными ее ограничениями и унижениями.

От Октябрьской революции 17-го до Великой Отечественной войны 41-го прошло менее четверти века. Советская культура была еще очень молода. Она начиналась выходом первых номеров «Красной нови», в которой публиковались Борис Пильняк, Всеволод Иванов, Михаил Пришвин, Сергей Есенин, сочинениями Серапионовых братьев. В ту пору Константину Федину было 34 года, Николаю Тихонову — 26. Но в 1921 году был казнен талантливый поэт, надежда русской литературы Николай Гумилев. А дальше в мрачные свои анналы история начала вписывать все новые и новые имена. Репрессиям подверглись Дмитрий Лихачев, Иван Уксусов, Дмитрий Остров...

Самый «обильный урожай» жестокий террор собрал в 1936—1941 годах.

Без малого сотня писательских имен...

Многие из погибших почти неизвестны современному читателю. Незаслуженно забытые, не переиздаваемые, они безмолвно, самим фактом своей гибели вызывают к справедливости и возмездию. А справедливость и возмездие — это не только юридическая реабилитация, но и воскрешение из мертвых, возвращение в литературу.

Наш долг перед безвинно загубленными, перед их потомками и перед грядущими поколениями создать в первую очередь не гранитные надгробия, а воссоздать их творчество, рассказать об их деятельной жизни до того.

В Нобелевской лекции Александра Солженицына, опубликованной в «Новом мире», читаем: «Целая национальная литература осталась там, погребенная не только без гроба, но даже без нижнего белья, голая, с биркой на пальце ноги...»

Там — куда людей, получивших срок, направляли «на перековку». Там — где на безымянных кладбищах, безвестных полях мертвых не хоронили, а торопливо, кое-как прятали расстрелянных.



Большинство фотографий получено из тюремных или лагерных документов.

Ни одна эпидемия, ни одна стихия с ее ураганами и землетрясениями не причинили бы советской литературе большего урона, чем черные деяния сталинской госбезопасности.

Проходят годы, и прошлое словно бы заволакивается дымкой забвения. Но можно ли оставить навсегда погребенными для памяти, для истории имена тех, кто был перемолот чудовищными жерновами произвола и репрессий? Когда-то Владимир Маяковский призывал: «Пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм». Боев было достаточно — гражданская, Великая Отечественная войны. Бой Сталина и его клики против собственного народа социализмом не назовешь.

Огромным общим памятником беззаконию, безмерной жестокости стали кладбища, на которых стоят сгнившие уже столбики с прибитой накрест фанеркой: «З/к такой-то, срок, дата».

Моя лагерная судьба так складывалась, что приходилось быть и землекопом, и плотником, и лесорубом, и шахтером, и санитаром. И еще я был могильщиком. Рыл могилы, и товарищей, кто еще вчера был жив, опускал в вечную мерзлоту. Навечно. Как это было, например, на Вычегде: привязали бирку к ноге, уложили тело в кое-как сколоченный из горбыля ящик, зарыли и встал над холмиком з н а к б е д ы : «З/к Кельсон-Кельве. Ст. 58—11». И все...

В самой кровопролитной за всю историю человечества второй мировой войне 1941—1945 годов наша страна потеряла 27 миллионов своих сыновей и дочерей. Мы долгое время считали, что сопоставить эту цифру не с чем: в прежних войнах Россия никогда не несла подобных потерь. Но теперь уже известно, что есть такая цифра! С 1 января 1935 года по 22 июня 1941 года было арестовано 19 миллионов 840 тысяч «врагов народа». Из них 7 миллионов было расстреляно. Большинство остальных погибло в лагерях. Это означает, что до начала войны народ уже потерял почти столько же, сколько унесла война в последующие четыре года.

Судьбы тех ста ленинградских литераторов, которые вошли в это число, словно песчинки в урагане произвола. И каждая песчинка — это с в о я , особая жизнь, особая дорога в истории общества.

Петр Кикутс. Латышский революционер. Поэт, прозаик, переводчик, приговоренный в буржуазной Латвии к каторжным работам. Эмигрировал в СССР и с 1932 года проживал в Ленинграде. Участвовал в Первом съезде советских писателей.

16 июля 1937 года был арестован Управлением НКВД по Ленинградской области. Никакого суда не было, только постановление Комиссии НКВД и Прокурора СССР от 10 января 1938 года, которое и определило границу его жизни: высшая мера наказания. Дышать ему оставалось целых пять дней: 15 января 1938 года Петра Кикутса расстреляли.

Время крутых перемен, в которое мы живем, позволяет узнать о многом из того, что было сокрыто во тьме спецархивов, и о многих, чья жизнь прервалась неожиданно, жестоко и мгновенно.

На запросы Историко-мемориальной комиссии Управление КГБ по Ленинградской области предоставило пакет, в котором более 60 документов из дел репрессированных писателей. За редким исключением они не содержат изъятых при аресте рукописей, ибо «Материалы творческого характера, фотографии, изъятые при аресте и не являющиеся вещественными доказательствами по делу, как правило, уничтожались, или, с учетом их ценности, передавались в соответствующие архивы...»

Но первое («уничтожались») совершалось чаще, чем второе («передавались в архивы»). И потому не подсчитать, сколько дарований, сколько таланта, вложенного в конфискованные и преданные огню творения, погублено. Из более чем 130 писателей, арестованных в Ленинграде, почти каждый второй был расстрелян. Волей Сталина они стали той причиной, на которую можно было свалить все провалы и неудачи в строительстве б у д т о б ы социализма. О литературе 30—40 — начала 50-х годов можно с полным правом сказать: «Ограблена. Истреблена. Разворована».

Чудовищным преступлением тоталитаризма стало не только физическое уничтожение творцов культуры, ее настоящего, но и ее прошлого и будущего.

Читаю, просматриваю собранные Историко-мемориальной комиссией материалы, документы и задаюсь вопросом: что являлось предметом и сутью обвинения, которое служило обоснованием приговора, зачастую смертного? Беспредметные подозрения? Лживый донос? Наго-

вор из корыстных побуждений или из низкого чувства мести? И то, и другое, и третье. Факты такого рода бесчисленны. Только теперь мы узнаем, что жизненная и творческая судьба одного из авторов знаменитой «Республики ШКИД» Григория Белых была изуродована соседом по коммунальной квартире, настрочившим донос после какой-то мелкой ссоры с писателем.

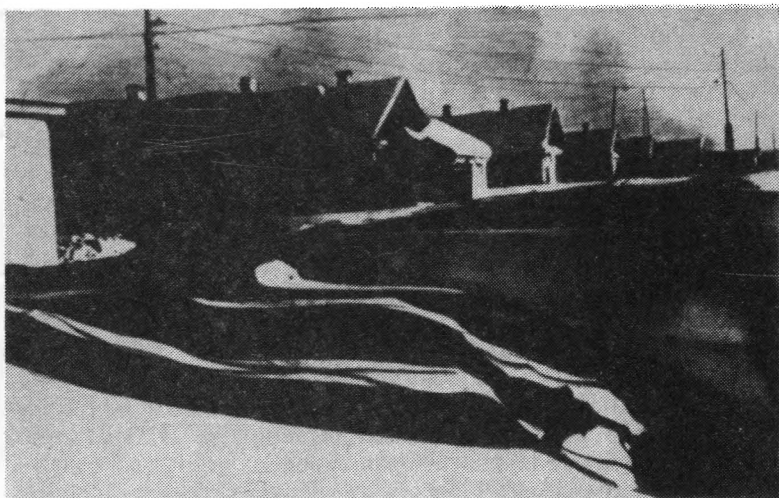
Одной из характерных черт сталинской диктатуры была острая нетерпимость ко всему, что хотя бы в малейшей степени выражало несогласие с режимом, идейную самостоятельность, попытку вырваться из круга официальной идеологии. За этим всегда следовал арест, расстрел или длительный срок заключения.

11 апреля 1941 года Ленинградским НКВД был арестован писатель Ян Ларри. В постановлении, к которому приложен ордер на арест, сказано: «Ларри Я. Л. является автором анонимной повести контрреволюционного содержания под названием «Небесный гость», которую он переслал отдельными главами в адрес ЦК ВКП(б) на имя товарища Сталина». (Главы из этой повести мы прилагаем к очерку, посвященному жизни и творчеству Яна Ларри.) Ян Ларри был схвачен, осужден, и лишь много лет спустя вернулся в литературу. А то, что он осмелился сказать в своих письмах к Сталину, увидело свет только в наши дни.

Наша книга называется «Распятые». В ней речь о писателях. Не всех из этого скорбного перечня поразила пуля палача. Для одних конец наступил вслед за приговором, для других потянулись годы страданий в тюрьмах и лагерях, в ссылке, которая и официально именовалась вечной. Но по сути своей эти годы тоже были расстрелом, только растянутым на бесконечно долгое время.

В одиночных камерах и насквозь промерзших бараках мученики лжи и произвола стали своего рода заложниками деспотизма: как часто годы заключения в тюрьме или лагере завершались новым приговором и казнью. Одно беззаконие дополнялось другим, и на этом система ставила точку. Так случилось с Михаилом Майзелем, с Евгенией Мустанговой и тысячами других, которые имели определенный срок заключения, но затем, еще не отсидев его, были заочно вновь судимы, заочно приговорены к смертной казни и — расстреляны.

В страхе за собственную карьеру, в стремлении отдалить свою гибель Сталин и его приспешники истребляли



всех, кто за хвастливым одобрением будто бы прекрасной жизни пытался увидеть горькую и страшную правду действительности.

Литератор и журналист Анатолий Сысоев был брошен за решетку не за то, что он открыто выступал против системы, а лишь за то, что нашли в его личных бумагах, написанных для себя, в рассказах, еще не увидевших свет. Длинные узкие розоватые листки. На них торопливым почерком записаны отдельные фразы, «мысли на ходу». «Надо, чтобы у власти стояла не партия, а люди... Член партии — узкий человек уже по одному тому, что он идет за кем-то, что подчиняется кому-то, живет мыслями и помыслами не своими...» — этого было достаточно, чтобы попасть в лагерь.

Будучи корреспондентом «Крестьянской правды», Сысоев выезжал по приказу в деревню, чтобы н а ж и м а т ь, когда проваливалась сдача налогов. «Я брал списки налогоплательщиков и собирался: надевал шинель со знаками отличия, пристегивал пустую кобуру и шел по избам... Я видел, я знал, что беру у крестьянина последнее, способное продлить его жалкую, безрадостную жизнь. И я брал безжалостно... Брал не потому, что это м н е было надо, брал не потому, что это т е б е надо, а брал потому, что так партия сказала, партия посылала меня брать,— брать

аванс во имя будущего, до которого не доживет человек, отдающий мне этот аванс...» И за эти не высказанные вслух мысли — тюрьма, лагерь.

Ложатся на стол все новые материалы. Душа уже устала от узнавания мрачных и скорбных страниц истории, о которых впору сказать: «и помнить страшно, и забыть нельзя». Столько уже опубликовано фактов, столько материалов о недавнем прошлом, что, казалось бы, новые публикации, новые разоблачения ничего уже не добавят. Но еще пройдут многие годы, прежде чем исчерпается эта горькая тема, да и исчерпается ли? Откроются ли все архивы и все тайники, в которых сокрыты злодеяния, учиненные против народа? Горы разоблачений все растут, но мы все еще остаемся как бы в полузнании.

Не десятки, а сотни «троек», «двоек» вкупе с Особым Совещанием и разными трибуналами, творили на огромном пространстве социалистического Отечества расправу. Суд был скорый — скорее быть не могло: не часы, минуты требовались для того, чтобы провести грань между «вчера» и «сегодня», ибо «завтра» у стоящего перед Военным трибуналом не могло уже быть. Высшая несправедливость приговаривала к высшей мере наказания! «Приговор окончательный!» — обжалованию не подлежал и приводился в исполнение немедленно, как это было с поэтом Борисом Корниловым. Его приговорили к казни 20 февраля 1938 года и расстреляли в тот же день.

И никто уже из тех, кому выпала такая судьба, не мог спросить: «Кто виновен в моей гибели?..»

Но миллионы зеков, кого миновала смерть, томясь в каменной тишине одиночек, во мгле угольных шахт, в глухой тайге, не могли не задавать себе вопроса: «Кто меня оклеветал? Кто?»

Вся репрессивная деятельность НКВД представляла собой фальсификацию от начала до конца, тем не менее постоянно предпринимались попытки подвести под нее некий фундамент правдоподобия. Требовались хоть какие-то факты, которые можно было бы квалифицировать как криминальные улики. И сейчас еще остаются тайной документы, те, говоря языком петровских времен, «подметные письма», которые послужили обоснованием ареста, а затем осуждения, расстрела. Сегодня мы знаем, что эти «основания» не могли быть юридическим оправданием репрессий. Но существом политики Сталина был не террор в о о б щ е ,

а террор направленный, лживо оправдываемый, не имеющая прецедента в мировой истории фальсификация.

И можно ли сейчас отрицать, что эта гнусная провокаторская деятельность имела достаточное множество добровольных авторов и творцов, помощников? В аппарате писательской организации Ленинграда также находились деятели, готовые угодливо написать о том или ином арестованном писателе отзыв, характеристику по принципу: «Чего изволите-с?»

Мы не знаем, каковы были основания к тому, чтобы некая Комиссия НКВД совместно с Прокурором (а не суд!) решала судьбу поэта Вольфа Эрлиха, арестованного 19 июня 1937 года и расстрелянного 24 ноября того же года. Но в следственном деле содержится «Характеристика», написанная много позже и подписанная А. Прокофьевым и А. Чивилихиным. «В первых его стихотворениях и книге о С. Есенине настойчиво звучали мотивы упадочничества и богемы. Одно время В. Эрлих состоял в группе ленинградских имажинистов, затем примкнул к ассоциации пролетарских писателей. В тридцатых годах им был издан ряд сборников... В стихотворениях, вошедших в эти сборники, получили отражение мысли и настроения интеллигента, не свободного от пережитков...»

Эта «милая» характеристика написана в ноябре 1956 года, когда рассматривался вопрос о реабилитации Вольфа Эрлиха. Чего же тогда можно было ожидать от аппарата писательской организации в 1937 году, когда требовалось очернить поэта? Очевидно, что для той «Комиссии» было достаточно и таких «преступлений», как упадочнические настроения. Человека уже нет в живых, нет и того, кто был Главным убийцей, но партийная окаменелость повелевала чернить и клеветать даже на мертвого поэта.

Вся атмосфера общественной жизни в условиях диктаторского режима, пропитанная ложью, требовала каких-то акций, которые бы оправдывали жестокость и террор. Массовые расстрелы как бы объясняли причины всевозможных неудач и провалов — «вот они, прямые виновники всех наших бед!»

Одним из таких «виновников» был и аспирант Института литературы АН СССР Вяйне Аалто, критик, литературовед, прозаик, член ленинградской писательской организации. «За связь с врагами народа и проведение в своих литературных работах панфинской контрреволюционной

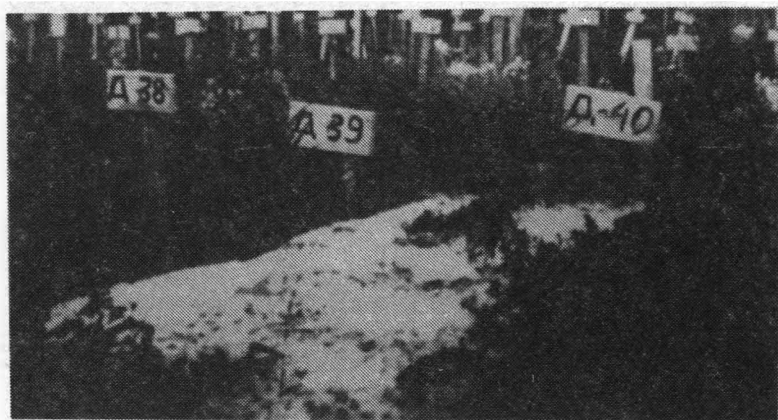
фашистской теории» 25 октября 1937 года он был арестован и по приговору все той же Комиссии НКВД расстрелян 17 января 1938 года.

Однако руку к гибели Аалто приложила не только Комиссия НКВД. В следственном деле Вяйне Аалто содержатся два пространных доноса. Их авторы, страждущие справедливости, подробно и весьма пристрастно перечисляют «ошибки» писателя, отлично понимая, что за этим должно последовать. Имея эти, полученные от партийных органов, лживые, клеветнические документы, следователи предлагают ту или иную версию якобы совершенных преступлений, согласовав ее с вышестоящим начальством. Затем в дело вступали костоломы. Следствие под пыткой довершало дело. Некий Аникин направил в партком Академии наук длинное верноподданическое заявление, перечисляющее на двух страницах суть преступления Вяйне Аалто: «...он скрывает от партии, как он в 1930—1932 годах разделял социал-фашистские взгляды по национальному вопросу».

Еще одно заявление в тот же партком пошло от сотрудника Института мировой литературы Гюльчева, где он громит Аалто за его работу в должности редактора газеты «Нуори Каарти»: «Вместо воспитания молодежи в духе пролетарского интернационализма,— пишет Гюльчев,— газета в ряде случаев была проводником буржуазного национализма». Разоблачения, подобные этим, ложились в фундамент смертных приговоров. Аникин и Гюльчев, безусловно, имеют право причислить себя к сонму помощников палача, пустившего пулю в Аалто.

Впрочем, доносы имели характер не только тайный, но и совершенно открытый, во всеулышание. Характер ряда публикаций 30-х годов не оставляет сомнений в том, что они по сути — выраженный в форме литературной критики поклеп, открытая клевета в печати, донос.

В. И. Кирпотин, литературовед, работавший в 30-е годы в аппарате ЦК ВКП(б), писал: «Самым разительным примером троцкистской пропаганды под маской литературоведческих исследований является деятельность ленинградского литературоведа Георгия Горбачева». Да и как было не выступать в таком ключе, если сам товарищ Сталин категорично наставлял: «...попытки некоторых „литераторов“ и „историков“ протаскать контрабандой в нашу литературу замаскированный троцкистский хлам



должны встретить со стороны большевиков решительный отпор».

Отличную службу сослужил подручным Ежова Кирпунин! Спустя пять лет эту публикацию, да и не только эту, припомнили,— и судьба Г. Горбачева была решена: арестован, осужден, расстрелян.

Едва ли не самое трагическое в жизни советского общества то, что оно вынуждено было существовать как бы в двух измерениях: реальном и ложном. Тот, кто оставался на так называемой воле, жил в обстановке террора, беззакония, общественного лицемерия при внешней видимости благополучия. Тот, кого бросали за решетку, обитал только в одном измерении: тюрьма, кирпичные стены, колючая проволока или таежная глушь, ссылка. Это было лишение свободы.

Действительность свидетельствует: деформация сознания, чувств, идей была настолько сильной и страшной, настолько отравляла духовную жизнь общества, что последствия ее ощутимы и до сих пор.

Однако история подневольной мысли, как в том, так и в другом измерении, писалась. Она оставалась в подпольном, тайном творчестве, никогда не угасавшем даже в условиях всеобщего полицейского надзора в «свободной» стране. Она создавалась и в узилищах, как бы они ни выглядели и где бы ни находились.

Нет счета способам, прибегая к которым, учредители и главари ГУЛАГа уничтожали население «архипелага», растирая в лагерную пыль жерновами ГУЛАГа, ски-

дывая в штольни, как отработанную, бросовую, вредную породу, лишнюю в светлом будущем. И потому безымянны и бессчетны могилы, усеявшие тундры Севера и степи Казахстана, прииски Магадана и пески Караганды. Умершие от голода и изнурительной непосильной работы, расстрелянные злобой сталинских опричников, замученные в камерах и на допросах, они не хотели быть рабами. Вчерашние граждане Союза Советских Социалистических Республик не хотели чувствовать себя поверженными в прах самовластьем. Они и там, — «во глубине сибирских руд», и там, — «во мраке заточенья» — сохраняли в себе Человека, который не прекращал тихого бунта — творил стихи, задумывал и втайне писал книги, облакал в точное слово свободные мысли, свободные мечты, ибо мысль арестовать невозможно.

Сколько бы раз ни перечитывал я страницы этой книги, никогда не исчезало ощущение того страшного, что пережили ее персонажи, ее герои. Но неизменным остается и другое чувство: гордости за человека, высокий дух, не покидавший его в самых ужасных, непереносимых обстоятельствах.

И вот так — ходившие в списках, пробившиеся сквозь вечную мерзлоту Колымы, сквозь бетонные плиты Беломорканала, затаившиеся в памяти узников и ссыльных — они, эти мысли, дошли до нас. До сегодняшнего дня.

В жизни есть много мук,
но горше нет пустоты,
если вырвут детей из рук
и растить их будешь не ты...
И не смыть, не забыть, не залить,
если отнял детей — чужой.
Эта рана — всегда болит.
Это горе — всегда с тобой.

Нина Гаген-Торн

Для заключенного, который был лишен всего — свободы, семьи, надежды, для человека, который угасал под гнетом каторжного труда, — возможность выразить себя в строке была подчас единственным светлым лучом надежды в темном царстве произвола и издевательств. Все вокруг — щелястые бараки, наглые конвоиры, рычащие овчарки, постоянная душевная придавленность, жалкая пайка, отвратительная баланда, грубый окрик «начальнич-

ка» — все это было не жизнью, а ее бледной уродливой видимостью.

Не все выдержали такое: публицист и поэт Алексей Кириллов, находясь в ссылке, после обыска, за которым должен был последовать новый срок, покончил с собой выстрелом из ружья.

Но во все времена находились люди, которые не испытывали страха перед насилием, и в самых каторжных условиях не утратили своей духовности.

Единственной и истинной жизнью их было творчество — потаенное, скрываемое от всех и вся.

Три тысячи триста и сколько-то дней
я слышала голос Отчизны моей.

Десять тюремных и лагерных лет слышала поэтесса Елена Тагер этот голос. С в о й голос ей приходилось прятать где только и как только можно было. Если при очередном ш м о н е стихи обнаруживали, это влекло за собой к а н д е й — карцер, устроенный на манер бетонной могилы, и самые тяжелые общие работы. А если в знаменитом Первом отделе — внутрилагерном КГБ — сидели особенно ретивые деятели, то и новый срок.

Но побеждал не страх, не голод, не бесконечный рабский труд, побеждала жажда истины.

Все, о ком сказано в нашей книге, были брошены за решетку, а затем расстреляны или заточены в лагеря в пору своей духовной зрелости, в возрасте 22—40 лет. В ящиках их письменных столов остались неосуществленные планы будущих произведений, записи, заметки, черновики и рукописи не увидевших свет поэм и романов.

Сталинщина, сталинские преторианцы вершили свои преступления д в а ж д ы : уничтожали физически человека — творца, и одновременно старались превратить в пепел ту часть духовной жизни народа, которая уже воплотилась в творение. Но вечно живое — человеческую мысль — убить нельзя. Внутритюремное, внутрилагерное творчество есть нравственное противостояние света — тьме, добра — злу, оно — вольное слово, сказанное тайком, шепотом т о г д а , но теперь произнесенное вслух.

Будь они сегодня живы, о многом рассказали бы. О бессудных приговорах и о судах, лицемерно действовавших под сенью будто бы Конституции. О долгих мучительных этапах, о душевных грязных пересылках...

Но их нет. И пусть не все, пусть далеко не до конца, должны рассказать о них сегодня мы...

5 марта 1953 года... Навсегда ушел из жизни человек, который четверть века олицетворял собой и славу страны, и ее позор... История как бы поставила точку в конце периода сталинщины. Но именно — как бы. Миллионы людей вырвались из-за решеток, из лагерных зон. Но, получив свободу, еще сомневались в самом этом факте; еще неуверенно доверяя закону, должны были начать жизнь сначала. Каким же мучительным было это новое начало в обществе, испытавшем нравственный и духовный распад! Одна из глав данной книги — воспоминания репрессированной ленинградки Иды Напельбаум¹. В них достаточно выразительно рассказано, как ее принимали после возвращения из заключения вчерашние знакомые и друзья. Да, она получила чистый паспорт и все гражданские права. Но в памяти искалеченного, деформированного общества все еще жил страх. Понадобилось еще не одно десятилетие, чтобы стало понятно и ощутимо: от того, что было в те годы, мы уходим в другое время.

И это время диктует: память о наших репрессированных товарищах не должна угаснуть, затеряться в пучине быстротекущего времени.

В наши дни можно нередко услышать упреки в адрес тех, кто стал жертвой дикого произвола: «Почему не боролись? Почему не сопротивлялись?» Теперь мы знаем: не молчала страна. Были акты не только прямой борьбы против сталинского режима. Было и другое... Пробыть долгие годы за решеткой, в лагерной зоне, в ссылке и не утратить веры в жизнь, не потерять себя как личность, — это ли не подвиг? Но многие ли сейчас понимают это? Оценено ли это сейчас по достоинству и до конца?

То, что мы знаем теперь о тюремных, лагерных судьбах людей, схваченных сталинской жандармерией, дает право сказать: подвергшиеся насилию не были молчаливыми жертвами режима. И за решеткой они, в меру своих сил, сопротивлялись, противостояли жестокости, злобе, хамству. То было сопротивление.

¹ Серия «Распятые. Писатели — жертвы политических репрессий» состоит из 3-х выпусков: «Тайное становится явным», «Могила без крестов», «Палачей судит время». Воспоминания Иды Напельбаум входят во 2-й выпуск.

Из документов, впервые публикуемых здесь, мы узнаем еще одно: известные писатели — Н. Тихонов, С. Маршак, И. Эренбург, М. Зощенко, В. Шишков, крупнейшие ученые-филологи, литературоведы Н. Пиксанов, В. Десницкий, О. Цехновицер — не отшатнулись от своих коллег, попавших в беду. В ту пору, когда одно только знакомство с «врагом народа» могло стать причиной ареста, они ставили свои подписи под ходатайством о пересмотре приговора. Честность, порядочность, верность человеческому долгу не изменили им.

Мы уходим из времени, в которое страна была поражена всеобщей нравственной и социальной патологией. Ее последствия пока еще присутствуют в сознании и психологии общества. Но все чаще публикуется в печати извлеченное из архивов, из хранилищ с надписью «спец», из неведомо как сбереженных личных архивов, творчество, долгие годы сокрытое от посторонних глаз, запрещенное, неведомое никому.

Воскресает слово, которое никогда уже не умрет. Мы заново открываем забытый, уместно сказать загадочный мир отечественной литературы. Открываем имена.

Издание мемориальных сборников, воскрешающих имена репрессированных, обнародование их произведений — все это неотъемлемая часть современного литературного процесса. В нашей книге мы рассказываем о литераторах, трудившихся в самых различных жанрах: прозаиках, поэтах, критиках, фантастах, литературоведах, сценаристах... Ныне их имена медленно — слишком медленно! — возвращаются из небытия. Появляются книги, когда-то известные народу, признанные, а затем преданные преступному забвению. Впервые публикуются произведения, созданные там, в тюрьме, в лагере, в ссылке...

В этом издании речь идет о писателях известных и не столь известных, но тем не менее бывших активными участниками литературного процесса 20—30—40-х годов, сыгравших важную роль в становлении всей советской литературы. Их имена отсутствуют в большинстве словарей и энциклопедий, изданных до 60—70-х годов. Далеко не всегда удается установить характер их творчества, детали биографии. Здесь огромным подспорьем для нас явилась книга В. Бахтина и А. Лурье «Писатели Ленинграда. 1934—1982».

В нашей книге мы не ставим целью вскрыть тот дьявольский механизм, который подверг унижению и насилию

огромную страну. Но то, что содержится в ее главах,— предмет для глубоких размышлений о трагической судьбе русской культуры.

Кому же адресована эта книга? Тем, кто испил полную чашу страданий, изведал крайнюю жестокость сталинских застенков, но все-таки выжил? Да, конечно, и им. Но в первую очередь поколению, не знавшему беды и только теперь начинающему ощущать боль минувшего, обретать мужество правды, которую надо понять.

Поведать истину о прошлом — это дать дорогу будущему.

Захар Дичаров

Фотография
не
найдена

**Вяйне
Иванович
ААЛТО**

1899—1938

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Аалто Вяйне Иванович, 12 сентября 1899 года рождения, уроженец г. Бьернерборг (Финляндия), финн, гражданин СССР, член ВКП(б) с 1921 года по 21 августа 1937 года, партийный билет № 1142665, исключен решением парткома ленинградских учреждений АН СССР «за связь с врагами народа и проведение в своих литературных работах панфинской контрреволюционной фашистской теории», аспирант Института литературы АН СССР, проживал по адресу: Ленинград, Бабурин пер., д. 6, кв. 107, комната 5.

Состав семьи на период ареста:
жена — Мария Сергеевна, 32 года, домохозяйка
сын — Орли Вяйневич, 4 года
дочь — Марина Вяйневна, 10 месяцев

Арестован 25 октября 1937 года Управлением НКВД по Ленинградской области. Обвинялся по ст. 58-6 УК РСФСР (шпионаж). Постановлением Комиссии НКВД

и Прокурора СССР от 17 января 1938 года определена высшая мера наказания — расстрел. Приговор приведен в исполнение 27 января 1938 года в Ленинграде.

Определением Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 8 сентября 1955 года постановление Комиссии НКВД и Прокурора СССР от 17 января 1938 года в отношении Аалто В. И. отменено, и дело прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Аалто В. И. по данному делу реабилитирован.

Из материалов дела

Аалто В. И. родился в 1899 году в Финляндии в г. Бьернерборге в семье ломового извозчика. В 1911—1914 годах учился в народной школе, с 1916 по 1919 год учился на вечерних коммерческих курсах и в вечернем рабочем институте.

В 1916 году вступил в финскую социал-демократическую партию, в которой состоял до конца 1919 года. Вышел из ее состава из-за несогласия с политикой руководства по вопросу отношения социал-демократов к Советской власти и коммунистической партии. В начале 1920 года вступил в финскую компартию.

В сентябре 1917 года, находясь в г. Бьернерборге, вступил в Красную гвардию. В апреле 1918 года воевал против немцев и белофиннов. 1 мая 1918 года попал в плен к немцам и был ими передан белофиннам.

В июле 1918 года был осужден белофиннами к 3 годам лишения свободы условно. После суда возвратился в г. Бьернерборг и работал на разных работах до апреля 1920 года.

С сентября 1920 года — редактор газеты «Народ» в г. Куопио. В начале 1921 года городским судом г. Куопио «за пропаганду коммунистических идей в газете» был приговорен к 3 годам лишения свободы, после чего бежал в СССР.

Находясь в Советском Союзе, в 1921 году вступил в члены ВКП(б). В 1921—1924 годах являлся ответственным секретарем губкома ВЛКСМ. В 1924—1926 годах — секретарь газеты «Вапаус» (финская коммунистическая ежедневная газета).

В 1926—1927 годах — ответственный секретарь коллектива ВКП(б) в финском домпросвете, в это же время является ответственным редактором финской комсомольской газеты «Нуори Каарти» («Молодая гвардия»). Ведет литературную и преподавательскую работу. (Газеты «Вапаус» и «Нуори Каарти» находятся в фондах газетного отдела Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге.)

В 1931 году — аспирант Института красной профессуры, в последующие годы — аспирант Государственного института искусствоведения, с 1935 года — аспирант Института литературы АН СССР.

С 6 октября 1937 года — револьверщик на заводе им. Ф. Энгельса.

Архивная копия

В партийный комитет Академии наук
от члена ВКП(б) Аникина Н. А.

Заявление

Считаю необходимым заявить в партийный комитет об известных мне фактах о члене партии Аалто, ставящих под сомнение его партийность.

1. Аалто Вяйне Иванович, рождения 1899 года (родился в Финляндии), с 1916 по 1920 год учился на вечерних коммерческих курсах и в Вечернем рабочем институте, был членом социал-демократических организаций с 1915 года, в Финляндии подвергался репрессиям. По словам Аалто, он сидел в концлагерях, откуда бежал с разрешения финляндской компартии в СССР. В 1921 году он вступил в члены ВКП(б), с 1921 по 1931 год работал на комсомольской и редакционной работе в газетах «Вапаус», «Нуори Каарти», в издательстве «Кирья»; в 1931 году — аспирант Института красной профессуры, в последующие годы — аспирант Государственного института искусствознания, с 1935 года — аспирант Института литературы Академии наук.

2. В аспирантуру Академии наук попал по ини-

циативе Ровио (бывшего ученого секретаря). В годы своего пребывания в аспирантуре ИКП был в близких отношениях с Эйдуком и Ровио.

3. Аалто имеет много родственников за границей: брата, сестру, дядю и др.

Летом прошлого года Аалто сообщал мне, что его брат, как будто член какого-то акционерного общества, приехал как интурист в СССР. Аалто имел с ним специальное свидание в Ленинграде. Собирался ехать для свидания в Москву. Аалто сообщил, что его брат состоит нелегально в финской коммунистической партии, приехал в СССР по разрешению партии, выполняет партийное задание. Факт приезда брата Аалто просил держать в секрете, так как это может повредить работе брата. Но мне известно, что то же самое, что и мне, Аалто передавал и другим коммунистам, например тов. Гуляеву. Какие у него были разговоры с братом, Аалто не говорил. Широкие разговоры о приезде брата вряд ли могли способствовать тому, чтобы приезд его брата остался конспиративным. Мне этот момент кажется подозрительным.

Подозрения в отношении Аалто особенно усиливаются в связи с тем, что он скрывает от партии, как он в 1930—1932 годах разделял социал-фашистские и фашистские взгляды по национальному вопросу. 23 июня 1937 года мною при разборе архива ЛАПП¹ была обнаружена стенограмма собрания национальных секций ЛАППа от 30 января 1932 года, где рядом лиц Аалто предъявлены были серьезные политические обвинения.

Докладчик Олесич, говоря о необходимости борьбы с национал-демократизмом, говорил в отношении Аалто: «Я помню, что тов. Аалто долго говорил: мы ингерманландское население, мы — центр всех финских народностей. Он говорил, что мы — приезжие — весь центр всего дела. Я думаю, что мы должны поставить вопрос так, чтобы раскопать все те архивы, которые имеются у нас».

Выступающий по докладу Ивачев, говоря о необходимости создания литературного языка для карелов путем введения в финский язык местных

ЛАПП — ленинградская ассоциация пролетарских писателей.

народных слов, указывал в отношении Аалто: «Как относился к этому ряд товарищей, главным образом ленинградских? Здесь в этом вопросе встает фигура Аалто. Он не понимал этих особенных условий Карелии. Он говорил, что мы идем по неверному пути. Он выставлял теорию единой финской литературы (пролетарской)». И дальше: «Он (Аалто) говорит, что мы, финские эмигранты, два года тому назад стояли на той точке зрения, что, исходя из местных условий, такой момент нельзя вводить. Финские эмигранты были едины...» «Теория Аалто о том, что не надо придерживаться местных условий, и его эмигрантская теория — это неверная теория. Поэтому мы должны крепко ударить».

Дальше Ивачев говорит о том, что вся группа финских эмигрантов-писателей совершенно отрицает литературное классическое наследие, считает, что «Калевалой» нельзя пользоваться потому, что ею пользуются фашисты.

Аалто, вероятно, принимал участие в руководстве финской секцией писателей. С этой точки зрения важно выяснить, как относился Аалто к Саволайнену и руководству финской секции, которая, по словам Олесича, одно время стояла на литфронтовых позициях.

Из стенограммы видно, что Аалто на предъявленные политические выступления не дал удовлетворительного ответа, ссылаясь на то, что критикующие его товарищи представляют дело односторонне.

Важно отметить, что на том же собрании, где указывалось на социал-фашистские теории Аалто, присутствовал и Эйдук, выступавший там с покаянной речью.

Архивная копия

Парткому Института Академии наук
тов. Гюльчеву

Проверивши комплект газеты «Нуори Каарти» за 1926—1927 годы, редактором которой был тогда тов. В. Аальто, мною установлено следующее:

В тот период, когда начала выходить газета «Нуори Каарти», наша партия ожесточенно и решительно боролась против троцкистско-зиновьевской оппозиции.

Как газета «Нуори Каарти» боролась за генеральную линию партии?

К дню открытия XV партийной конференции уже вышло пять номеров газеты, содержание которых было следующее: неострые заметки о росте комсомола, где лучше провести свободное время, о птицеводстве, наука и техника, литературная страница, юмор. Нет ни одной заметки, разъясняющей политическую линию и задачи партии, а все вопросы жизни молодежи поставлены оторванно, аполитично.

В момент, когда нужно было в каждом номере газеты вести революционную борьбу против врагов партии и народа, газета «Нуори Каарти» только 25 декабря 1926 года (№ 12) в передовой статье о Пленуме Коминтерна очень осторожно, поверхностно напоминает, что в секциях Коминтерна имеется оппозиция, против которой выступило большинство Пленума. Каково отношение оппозиционеров к строительству социализма, каковы задачи комсомола в борьбе с троцкистами-зиновьевцами,— об этом в газете нет ни одного слова.

Первая заметка, более выдержанная с точки зрения партийности и принципиальности, появилась в № 32 от 6 августа 1927 года (через 10 месяцев после выхода первого номера) под заголовком «О деятельности оппозиции» (автор Лаукканен).

Вторая заметка «Преступная деятельность оппозиции» помещена в подвале газеты № 42 от 15 октября 1927 года (автор Лаукканен).

Политическая линия газеты была неправильная. За два года (1926—1927) газета не печатала ни одной заметки или статьи о том, как местные комсомольские организации разоблачают врагов и их пособников и как они должны вести борьбу с ними. Газета не имеет политического лица; она пишет только о культурных вопросах. Сам редактор В. Аальто 1 октября 1936 года пишет в газете в своих воспоминаниях следующее: «Еженедельная газета „Нуори Каарти“ кратко, в сжатой фор-

ме освещала важнейшие общеполитические события. Работе молодежи, сельскому хозяйству, развитию техники и т. д. были посвящены свои отделы. Литературная страница занимала четвертую часть всей газеты. Только для пробуждения интереса к газете был отдел юмора».

Это характеризует, как редактор понял политические задачи партии. Еще через десять лет в своих воспоминаниях он не видит ошибок газеты.

Эти ошибки не единичны. Имеются заметки, написанные в духе буржуазного национализма. Например, в № 5 от 29 октября 1927 года написано: «Ингерманландцы и карелы должны усвоить себе тот опыт, который получили финские рабочие, и пусть соединяются с ними». Иначе говоря, это значит, что ингерманландцы и карелы, которые активно участвовали в Октябрьской социалистической революции и победили в борьбе с интервентами в гражданской войне, должны брать в пример финляндских революционных рабочих. Такая постановка вопроса ориентирует молодежь на буржуазную Финляндию.

Вместо воспитания молодежи в духе пролетарского интернационализма, газета в ряде случаев была проводником буржуазного национализма. В № 45 (октябрь 1927 года) напечатана заметка «Карельский язык», направленная против создания литературного карельского языка, против изучения русского языка, за обучение «чистого финского языка».

В № 15 от 9 апреля 1927 года написано: «Сельское хозяйство Карелии находится на низком уровне, потому что в Карелии нет квалифицированных агрономов, владеющих финским языком». И в практике из Финляндии и из Америки вербовали «специалистов» и не давали расти местным молодым кадрам. Это результат национальной политики Ровио и Гюллинга. А газета «Нуори Каарти» в начале своего существования проповедовала эту политику.

Ответственный редактор
газеты «Нуори Каарти»

М. Яккола

Ленинград, 15 августа 1937 г.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Аалто (Аальто) Вяйне Иванович (1899, Або-Бьернерборг, ныне Турку, Финляндия — 27.1.1938), критик, литературовед, прозаик. Кандидат филологических наук. Член КПСС с 1921 года. В 1916—1919 годах состоял в социал-демократической партии Финляндии, в 1920—1921 годах — в социалистической рабочей партии. Участвовал в боях с белофиннами в 1918 году. После окончания гражданской войны поселился в Ленинграде. Окончил аспирантуру Академии искусствознания. Был редактором газеты «Вапаус» («Свобода») на финском языке, руководил кружком финских писателей в Ленинграде. Автор статей о финской литературе в БСЭ (1937, т. 67), «Финская литература после 1918 года» — в «Литературной энциклопедии» (1939, т. 11), о творчестве Л. Хель (в книге «Весенний поток. Сборник финских советских писателей», 1934), предисловия к сборнику рассказов А. Стриндберга (1936). Участник съездов и конференций писателей Карелии. Принимал участие в переводах Пушкина на финский язык. Библиографию его публикаций на финском языке см. в книге: «Летопись литературной жизни Карелии» (1961).

На дыбах: Из жизни в белогвардейском концентрационном лагере. Л.—М., 1932; Натуралистический период в творчестве А. Стриндберга. М.—Л., 1936.



**Сергей
Иванович
АБРАМОВИЧ-
БЛЭК**

1895—1942

РАЗМЕРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

В одном из своих рассказов, опубликованном в 1940 году в журнале «Краснофлотец», Сергей Иванович Абрамович-Блэк с характерной для его стиля яркостью описывал следующую ситуацию. Финская война, залив покрыт льдом, корабли не участвуют в боевых действиях. «Водолазы скучают — пробойн нет. Значит, и работы нет. А воевать хочется...» Неожиданно команда получает приказ — важное задание. Водолазов буксируют на волокуше за танком по льду, почти к самому берегу, занятому противником. Им приходится под обстрелом поднимать из полыньи некий ящик. По толстому бронированному нагруднику одного из водолазов чиркает пуля. Танк ведет ответный огонь по берегу. Все, однако, кончается благополучно — ящик поднят, водолазы возвращаются.

Естественно, у нас возникают вопросы. Что находилось в ящике, который поднимали со дна водолазы в рассказе Абрамовича-Блэка? Как ценный груз мог оказаться вблизи вражеских позиций? Следствие это чьей-то ошибки, халатности или, быть может, ящик принадлежал финнам? Мог ли он оказаться настолько ценным, чтобы оправдать смертельный риск не только водолазов, но и танка с экипажем? Едва ли современный автор оставит без ответа эти вопросы. В рассказе, о котором идет речь, особой добродетелью

выглядит как раз то, что у героев не возникает никаких вопросов.

В центральном произведении С. И. Абрамовича-Блэка, романе «Невидимый адмирал», повествующем о событиях осени 1917 года, есть такой эпизод. Герой романа, мичман Валицкий, помогает матросам уничтожить запасы спирта на винокуренном заводе в одном из пригородов Таллинна. Подвал залит спиртом из опорожненных емкостей. Внезапно на улице слышится ругать и в окно подвала падает женщина. Прежде чем ей успевают прийти на помощь, женщина захлебывается спиртом и гибнет. Где-то шелкают выстрелы. Валицкий, выбежав на улицу, пытается отыскать виновных, но сам по недоразумению едва не становится жертвой самосуда. Его выручает знакомый матрос-большевик.

Нет оснований считать, что Сергей Иванович сознательно стремился насаждать своими произведениями такое отношение к жизни и смерти. Оно было вполне в духе времени. «Незаменимых у нас нет», — говорил Сталин. «Когда страна прикажет быть героем, у нас героем становится любой», — пелось в известной довоенной песне.

Сергей Иванович Абрамович (Блэк — авторский псевдоним, взятый им позже) родился в Саратове. Шел 1895 год. О своем происхождении он писал: «крестьянское», хотя Всеволод Вишневский отмечал в предисловии к «Невидимому адмиралу», что Сергей Иванович родился в семье железнодорожного служащего. Зная, какую роль в то время играла в анкетах графа «социальное происхождение», можно выдвигать различные гипотезы о причинах этого расхождения.

С 1905 года Сережа Абрамович учится в Петербурге в реальном училище, интересуется историей, пробует писать стихи. Незадолго до войны поступает в Петербургский политехникум на кораблестроительное отделение. С началом войны идет добровольцем во флот. В 1915 году, закончив гардемаринские классы, получает первый офицерский чин мичмана, воюет на Балтике, участвует в революционных событиях. После Февраля 17-го года — член судового комитета линкора «Цесаревич», корабельный ревизор. Он участвует в знаменитом Моонзундском сражении с превосходящими силами германского флота. На флоте не оставляет литературных занятий, в частности, принимает участие в выпуске кают-компанейской газеты «Бодряга».

Послеоктябрьский послужной список Сергея Ивановича также достаточно интересен. Тут и должность старшего флагманского секретаря командующего морскими силами Балтийского моря, и служба в военно-морской инспекции, и командование эсминцем и канонерской лодкой, должность помощника командира крейсера «Профинтерн», несколько лет службы на Дальнем Востоке.

Все большее место в жизни Сергея Ивановича занимает литература. Писательское его становление приходится на бурные и противоречивые 20-е годы.

Сразу после революции «всюду — даже на отдаленных базах и островах, например, Або, Аренсбург, — возникли флотские газеты и журналы. Газеты наполнены страстными исповедями матросов, сотнями наивных стихов, писем, обращений ко всему человечеству. Были даже письма к буржуазии с призывом „понять и усовеститься“. Характерно, что газеты не дали полной разрядки энергии. Матросские массы (до 120 000 чел. на Балтийском море, до 40 000 чел. на Черном море и до 30 000 чел. на Каспии, на Севере и на Дальнем Востоке) требовали чисто литературных изданий. Это ... было удивительное проявление революционной творческой энергии», — писал Вс. Вишневский.

Издаются журналы, возникает множество литературных объединений. Вот выдержка из предисловия Вс. Вишневского к «Невидимому адмиралу», имеющая непосредственное отношение к литературному пути Сергея Ивановича. «...Моряки-писатели концентрируются вокруг флотской газеты и нового журнала „Красный флот“. Именно сюда, к этому центру начали подтягиваться начинавшие тогда Л. Соболев, С. Абрамович-Блэк...»

К 1927 году относится интересная характеристика С. Абрамовича в протоколе ежегодной аттестации.

«Характера мягкого, здоровья слабого, страдает бессонницей. Своей деятельностью старшего помощника тяготеет, так как за трехлетнее командование башканлодкой¹ на реке Амуре привык к самостоятельности. Обладает инициативой. Дисциплинирован. С подчиненными обращаться умеет. Пользуется авторитетом. Способен, развит. Свободно разбирается в оперативных вопросах и вопросах морской тактики. Принимает участие в общественной жизни — литературные доклады, организовал морской

¹ Башенная канонерская лодка.

уголок у шефа, сотрудничает в морском журнале. Вопросами политики интересуется, особенно международной, но при проверке минимума политзнаний такового не выдержал. Интересуется военной химией».

Аттестация следующего, 1928 года, оказалась более суровой. Без специального исследования трудно сказать, насколько выдвигаемые в ней обвинения были справедливы, а насколько являлись следствием неизбежных конфликтов между служебными обязанностями и серьезными занятиями литературой.

С 1928 года Сергей Иванович находится в запасе. Видимо, он испытывал материальные затруднения. Вот выдержка из письма Вс. Вишневого Адаму Дмитриеву, редактору «Красной звезды»: «Прошу, побеседуй делово с Блэком о „Моонзунде“. С января ему надо обеспечить „жизнь“, „харч“, — иначе как же роман? — Возьмись за дело, тяни автора, помогай... Словом: надо договор... А общие слова Блэку его не накормят». Письмо это датировано октябрём 1934 года. В нем упоминается работа над романом «Невидимый адмирал» (первоначальное название «Моонзунд»). Едва ли, однако, Абрамовичу-Блэку жилось легче несколькими годами раньше, когда он был как литератор менее известен.

До 1936 года С. Абрамович-Блэк написал более 500 очерков, 35 рассказов, несколько радиопьес, три популярные морские книги для детей. Правда, значительная часть всего этого, вероятно, писалась для заработка.

К настоящей литературе можно без натяжек отнести, пожалуй, две главные его книги: путевые очерки «Записки гидрографа» (1934) и роман «Невидимый адмирал». Основой для «Записок» послужили впечатления от путешествия по Якутии (Сергей Иванович был участником гидрографической экспедиции).

Критика в целом благожелательно встретила «Записки», отмечалась «исключительная добросовестность автора». Однако любой поступок, в результате которого человек оказывался на виду, мог быть в те годы смертельно опасным. Труд литератора напоминал хождение по минному полю. На сравнительно благополучном фоне появилась критическая статья, являющаяся, по существу, политическим доносом.

Некто Бочачер, заместитель редактора журнала «Советская Арктика», обвинил автора «Записок гидрографа» в том, что «типично мелкобуржуазное отношение к малым

народам Севера сквозит во всей книге...», «тени большей частью рисуются не с наших позиций». К счастью для Сергея Ивановича, «оргвыводы» из этой статьи сделаны не были.

Между тем, Блэк заканчивает работу над «Невидимым адмиралом». Большую поддержку Сергею Ивановичу здесь оказывал Вс. Вишневский. Вероятно, их связывали не только деловые, но и дружеские отношения. Это подтверждается перепиской Вишневского с А. Дмитриевым. В одном шуточном письме Вишневский пишет: «Адам! То, что здесь будет сообщено, держи втайне. Я с Блэком формирую в Москве отряд моряков в Абиссинию...» И в конце этого письма: «Так В. В. и Блэк хотели малость позабавить своего дорогого друга Адамыча».

Первое издание романа вышло в 1936 году. В 1937 появляется второе издание, в 1941 — третье. Оно было подписано к печати спустя считанные дни после начала войны.

Центральным событием романа является Моонзундское сражение между кораблями Балтийского флота и флотом кайзеровской Германии, стремящемся прорваться к Петрограду.

«Невидимый адмирал» романа — это большевистская партия, которая на фоне нарастающего хаоса, военной катастрофы готова защищать не старую, нет, а новую, революционную Россию.

Герой романа, мичман Валицкий, во многом похож на автора. Как и Абрамович-Блэк, он, не будучи дворянином, учился в политехникуме, затем поступил в гардемаринские классы и по их окончании получил чин мичмана. После Февральской революции оказался членом судового комитета и ревизором на линейном корабле. Выбор героя позволил Абрамовичу-Блэку дать удачный «срез по вертикали» — от матроса до командира линейного корабля...

Не будем подробно останавливаться на многочисленных рассказах, очерках, которые продолжает печатать Абрамович-Блэк после выхода в свет «Невидимого адмирала». Здесь можно найти рассказы о Северном флоте, содержащие пышные славословия Сталину и проклятия в адрес Троцкого, корреспонденции с финской войны. После присоединения Эстонии — исторический очерк о Таллинне.

После начала Великой Отечественной войны Абрамович-Блэк снова на действительной службе. К сожалению, документальных свидетельств о последних месяцах его

жизни пока отыскать не удалось. Мы располагаем, однако, свидетельствами людей, лично знавших его.

Поэту Всеволоду Азарову запомнился щеголеватый, подтянутый Абрамович-Блэк в прифронтовом Таллинне лета 1941 года, на котором красовалась форма капитана 3-го ранга. Затем мы видим Сергея Ивановича в блокадном Ленинграде — он прикомандирован к редакции многотиражной газеты знаменитого крейсера «Киров».

В первый, наиболее тяжелый период блокады вполне реальной представлялась возможность, что фашисты войдут в город. В связи с этим минировались мосты, заводы, разрабатывались планы партизанской борьбы.

По рассказам очевидцев, однажды в кают-компании крейсера «Киров» зашел разговор, что делать крейсеру в случае падения города. Сергей Иванович высказал мнение, что крейсер должен идти в Балтику и вести там индивидуальную крейсерскую войну, а может быть, и прорываться в Англию. На возражение, что некому проложить курс по этим районам, Блэк сказал, что мог бы это сделать, так как имел диплом штурмана.

Кто-то написал донос, и Сергей Иванович был отдан под трибунал по обвинению в пораженческих настроениях. Несмотря на хлопоты Вс. Вишневского, он получил десять лет и умер в тюрьме от голодной дизентерии.

Так, внезапным трагическим поворотом, завершилась эта жизнь, в которой были и непреходящие достижения, и нереализованные возможности, и суета, и обычные человеческие слабости...

Сергей Соловьев

Фотография

не

найдена

**Василий
Михайлович
АНДРЕЕВ**

1889—1942

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Андреев Василий Михайлович, 1889 года рождения, уроженец Ленинграда, русский, гражданин СССР, беспартийный, писатель, проживал: Ленинград, ул. Маяковского, д. 7, кв. 24

жена — сведений нет

дочь — Андреева Валентина Васильевна, 1922 года рождения, проживала с отцом.

Арестован 27 августа 1941 года Управлением НКВД по Ленинградской области. Обвинялся по ст. 58-10 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда). Был этапирован в г. Мариинск Новосибирской области.

Находясь под следствием, Андреев В. М. 1 октября 1942 года умер от остановки сердца на почве авитаминоза.

Постановлением УНКВД ЛО от 17 ноября 1942 года дело из-за смерти обвиняемого прекращено. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года «О дополнительных мерах по установ-

лению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в 30—40—начале 50-х годов» дело по обвинению Андреева В. М. направлено в Прокуратуру г. Ленинграда для решения вопроса о его реабилитации.

«НА ВСЕ ЕСТЬ СЛОВО...»

Листаю альбом — подарок уже скончавшейся писательницы Августы Рашковской. Стихи, шутки, афоризмы — рука А. Грина, Ф. Сологуба, А. Чапыгина, К. Вагинова, Б. Лавренева... А вот ясный, твердый почерк: «На все есть слово. Даже на то, чего нет, — и на то есть слово... 26/IV—25 г. Вас. Андреев».

Да, это тот самый Василий Андреев, о котором я столько слышал от литераторов старшего поколения и которого теперь, если и знают, то только по имени, да еще к тому же часто путают с другим Василием Андреевым, автором книги «Народная война». В судьбе этого писателя много удивительного, неясного — начиная от даты рождения и кончая смертью.

Из «Краткой литературной энциклопедии»: родился 9 января 1900 года по новому стилю в семье рабочего, а в 1912—1914 годах находился в ссылке, откуда бежал; погиб на фронте в Отечественную войну.

Удалось разыскать в Москве дочь писателя Валентину Васильевну, которой, кстати сказать, отец посвятил несколько произведений и книгу «Повести». Она и сообщила то, что ей было известно по семейным преданиям: «Василий Михайлович Андреев родился в Петербурге 19 января 1896 года в семье служащего. В 1910 году был осужден за убийство жандарма (прикрывал распространителя революционных листовок). В то время отцу было 14 лет, и только поэтому он отделался ссылкой в Туруханский край. Там в те же годы отбывал ссылку Сталин, об организации побега которого отец хорошо знал».

Но вот, наконец, найден документ, которому, вероятно, можно верить: анкета, собственноручно заполненная Василием Михайловичем 26 сентября 1928 года. По ней, родился он 28 декабря 1889 года. Окончил четырехклассное городское училище. Оба деда и обе бабки — из крестьян. Был ли его отец служащим или рабочим, не столь важно, сегодня, по крайней мере. В прекрасной повести «Славнов двор» (1924), носящей несомненно автобиографический

характер, центральный персонаж — сын мелкого чиновника. Он дружит, играет, растет вместе с ребятами своего двора, живущими в подвалах и на первом этаже, — с сыном дворника, с мальчиками-подмастерьями.

Что же касается ссылки, то в последнем из опубликованных произведений В. Андреева — очерке «Игарский балок» (полярная быль) сказано: «Я не по своей воле с 1910 по 1913 год жил в Туруханском крае...»

Вернувшись в Петербург (был побег или нет — выяснить пока не удастся), Андреев стал журналистом-поденщиком. Его расхожие псевдонимы говорят сами за себя: Васька-газетчик, Васька-редактор, Андрей-Солнечный.

Писать он начал с детства. А первое значительное произведение создано в 1923 году. Это рассказ или, скорее, повесть «Боецкий путь». Первая книга — сборник из пяти рассказов «Канун» — вышла в 1924 году, последняя, одиннадцатая по счету, — «Повести» — в 1936.

Уже в «Боецком пути» намечился круг основных тем Василия Андреева: детство, становление человека, пробуждение стихийного революционного сознания, жизнь городских низов.

Андреев пишет сочно, ярко, у него поразительный, точный язык. Это признают даже те, кто постоянно критиковал его и за героев, и за то, что они не перековались на следующий же день после революции, и за якобы нечеткость авторской позиции.

С удивительным знанием, порой даже с некоторым романтическим, по-бабелевски, колоритом, рассказывает молодой автор о ватагах подростков, которые ведут постоянные войны друг с другом, улица с улицей, о главарях этих ватаг, отличающихся не только смелостью и физической силой, но и душевным благородством.

Один из героев «Боецкого пути» — Валька-баянист, атаман своего квартала.

«Валька погиб.

Страшной и памятной всем смертью.

...Он один (безрассудно, с ножом!) ворвался в квартиру, и был сражен несколькими пулями. Вся улица, рабочие завода Берда хоронили Вальку...»

Васька, другой герой «Боецкого пути», тоже предводитель уличной вольницы, уходит в революцию, на гражданскую войну и гибнет от руки бандита. От озорства и хулиганства к классовой, революционной борьбе — таков путь бойца, боецкий путь. Мысль, к которой неоднократно воз-

вращается писатель и в других произведениях: «один — не боец».

В 1926—1927 годах у Андреева выходят четыре книжки повестей, рассказов, пьеса «Фокстрот». Он приобретает известность. Художник В. Зверев рисует его портрет. В сентябре 1926 года Горький из Сорренто спрашивает Вс. Иванова: «Что делает Леонов? Восхищаюсь „Разиным“ Чапыгина... А что такое Василий Андреев?.. Много любопытного на Руси, и очень хочется пощупать все это».

А через несколько месяцев, видимо, уже прочитав что-то из андреевских вещей, Горький в письме С. Н. Сергееву-Ценскому хвалит трудолюбие, знания, талант 20-летнего шкидовца Л. Пантелеева и говорит, что «пинкертоновщина» Пантелееву чужда. «Мне думается, что среди молодежи есть немало таких, которые не поддаются американизации, например, Малашкин, Василий Андреев, Четвериков...»

Литературная репутация В. Андреева сложилась быстро и как бы окостенела: писатель даровитый, но пишет, мол, только о ворах, уголовниках. На самом же деле Андреев отлично умел рассказывать о детях: с годами переходил к иному жизненному материалу. В 1934 году с предисловием Н. К. Крупской вышла его биографическая повесть «Товарищ Иннокентий», посвященная революционеру Н. Ф. Дубровинскому, с которым Андреев вместе отбывал ссылку. В книге об этом обстоятельстве не сказано ни слова. Письма Н. К. Крупской в связи с выходом книги опубликованы в 1979 году журналом «Коммунист».

В 1935 году Андреев создает большую повесть «Глушь», в которой возвращается к дореволюционной Сибири и ссылке, воссоздает страшные картины воровства, жестокости местных властей, угнетения народов Севера.

В середине 30-х годов написана книга «Комроты шестнадцать», необычная по обстоятельствам сюжета и его персонажам. Это повесть о штрафной роте, о дезертирах, сектантах, отказывающихся взять оружие, о нарушителях воинской дисциплины. Еще идет гражданская война, а в маленьком пригороде командир штрафной роты, малограмотный, но мудрый и убежденный в революционной идее человек, спокойно, основательно делает важнейшее дело — трудом, справедливой требовательностью, силой собственного примера воспитывает людей. В финале рота в полном составе — что невозможно было предположить вначале — отправляется на фронт.

Валентина Васильевна рассказала, что в 1940 году Андреев написал повесть «О пребывании в Туруханском крае И. В. Сталина и событиях, связанных с организацией его побега из ссылки 1911 г.». Рукопись была послана в Москву. В ответ пришла телеграмма: «Уважаемый Василий Михайлович, этим хвастаться не надо. Рукопись оставляю. Сталин». Может, она еще существует где-то?

Квартира Андреевых на улице Маяковского (до 1931 года — Надеждинской) была всегда полна народу. Хозяева знали множество стихов, не отставали и гости. В большом ходу были шутки, розыгрыш. Дочь помнит, что однажды пришло письмо с таким адресом на конверте:

На Надеждинской улице, семь,
Прямо в двадцать четвертой квартире,
Вместе с дочкой и вместе с женой
Проживает без всяких усилий
Уважаемый всюю страной
Знаменитый

Андреев Василий.

В дни блокады Василий Михайлович дежурил на крыше своего дома, тушил зажигательные бомбы. 8 сентября 1941 года, в самую первую бомбежку города, в андреевской квартире вылетели стекла, на них были автографы писателей А. Чапыгина, О. Форш, М. Чумандрина, Е. Полонской и других, процарапанные алмазом с перстня Чапыгина.

Осенью 1941 года Андреев вышел из дома по обычным делам. Больше его никто не видел. Голод, холод, шальной осколок? Вполне возможно! Но потом пронесся слух, что его арестовали. После войны в ответ на ее запрос «маме сообщили, что отец в декабре 1941 года погиб в авиационной катастрофе. Больше ничего об отце я не знаю». Недавно запрос повторили. Ответ на него содержится в документе, публикуемом выше (из архива КГБ).

Владимир Бахтин



**Николай
Валерьянович
БАРШЕВ**

1888—1938

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Баршев Николай Валерьянович, 8 октября 1888 года рождения, уроженец Ленинграда, русский, гражданин СССР, беспартийный, писатель (член Союза писателей СССР), проживал: Ленинград, ул. Чайковского, д. 39, кв. 14

жена — Баршева Валентина Ивановна, 27 лет, домохозяйка
дочь — Алена, 1 год

Арестован 11 января 1937 года Управлением НКВД по Ленинградской области. Обвинялся по ст. 58-10 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда), 58-11 (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления).

7 мая 1937 года приговором Спецколлегии Ленинградского областного суда Баршев Н. В. был осужден к 7 годам лишения свободы с последующим поражением в правах, предусмотренных пп. «а» и «б» ст. 31 УК РСФСР (активное и пассивное избирательное право, право занимать выбор-

ные должности в общественных организациях) сроком на 4 года.

Из заявления жены Баршева Н. В. — Баршевой В. И. следует, что Баршев Н. В. в августе 1937 года был сослан на Колыму. Умер 30 марта 1938 года в г. Хабаровске.

Постановлением Президиума Верховного Суда РСФСР от 30 января 1957 года приговор Спецколлегии Ленинградского областного суда от 7 мая 1937 года в отношении Баршева Н. В. отменен, и дело прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Баршев Н. В. по данному делу реабилитирован.

Из материалов дела

Баршев Н. В. — сын полковника царской армии. В 1915 году окончил экономическое отделение Петроградского политехнического института.

В 1917 году работал ревизором движения на железной дороге. Первые годы после Октябрьской революции служил в Воронежском округе путей сообщения, затем переехал в г. Белгород. В 1922 году приехал в Ленинград. В том же году был одним из организаторов литературного кружка «Стожары», из которого вышел в 1923 году.

Архивная копия

В Верховную прокуратуру СССР
Член Президиума Союза советских писателей
Борис Лавренев

Характеристика покойного члена ССП
Баршева Николая Валерьяновича

Писателя Баршева Н. В. я знал с 1924 года по совместной литературной работе в ленинградской писательской творческой группе «Содружество». Это был серьезно работавший, обладавший незаурядным дарованием, хороший стилист в области русского литературного языка. Автор ряда интересных рассказов и повестей о так называемых «маленьких людях». Пьеса Баршева «Большие пу-

зырьки» с успехом прошла в 1928—1929 годах в ленинградском театре «Пролетарский актер». В течение всего моего знакомства с Баршевым, длившегося до 1936 года, мне никогда не приходилось слышать от него ни одной фразы, которая могла бы дать повод заподозрить в нем хотя бы малейший признак антисоветских настроений, и арест его и последовавшее за этим репрессирование, меня весьма удивили, как, впрочем, многие аресты этого периода.

Не имея представления, какое обвинение было предъявлено Баршеву, тем не менее беру на себя смелость утверждать, что для нашего государства Баршев представлял неизмеримо меньшую опасность, чем те люди, которые лишили его свободы и честного гражданского имени и довели его до гибели в концлагере.

Член Президиума
Союза советских писателей СССР
Главный редактор журнала
«Дружба народов»

Б. Лавренев

Москва, 19 мая 1956 г.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Баршев Николай Валерьянович (20.X.1888, Петербург — 30.III.1938), прозаик. Окончил Политехнический институт. Работал в Министерстве путей сообщения, после революции — на Октябрьской железной дороге. В соавторстве с Л. Гордиенко написал книгу «Техническая и коммерческая эксплуатация железных дорог» (1926). В 20-е годы входил в литературную группу «Содружество» (М. Борисоглебский, Н. Браун, М. Козаков, Б. Лавренев, Вс. Рождественский, А. Свентицкий, А. Чапыгин, Д. Четвериков). Печатал стихи в альманахе «Стожары». Первые рассказы опубликованы в 20-е годы в альманахе «Ковш», в журналах «Звезда», «Ленинград», «Красная панорама», «Красный журнал для всех». Автор пьес «Человек в лукошке» (1925), «Большие пузырьки» (1928—1929), «Кончина мира» (1928), «Машинист Комаров» (в соавторстве с Л. Грабарем, 1933), скетча «Пропал» (в соавторстве

с Б. Папаригопуло и А. Флитом), работал над историей завода «Красный выборжец». Осталась незавершенной повесть о Кулибине. Первые произведения Н. Баршева высоко оценил Горький. Автобиографическую заметку см. в журнале «Красная панорама», 1926, № 24.

Гражданин вода. Л., 1926; Прогулка к людям: Книга рассказов. Л., 1926; Большие пузырьки: Книга рассказов. М.—Л., 1928; Обмен веществ. Л., 1929; Летающий фламандрион. Л., 1929.



**Сергей
Константинович
БЕЗБОРОДОВ**

1903—1937

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Безбородов Сергей Константинович, 16 сентября 1903 года рождения, уроженец г. Аткарска Саратовской губернии, русский, гражданин СССР, беспартийный, писатель, член Союза писателей СССР с 1933 года, проживал: Ленинград, ул. Куйбышева, д. 29, кв. 65
жена — Безбородова Елена Ивановна, 30 лет
сын — Безбородов Роальд Сергеевич, 8 лет

Арестован 5 сентября 1937 года Управлением НКВД по Ленинградской области. Обвинялся по ст. 58-6 УК РСФСР (шпионаж), 58-7 (подрыв государственной промышленности, транспорта... в контрреволюционных целях), 58-11 (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления). Постановлением Комиссии НКВД и Прокурора СССР от 19 ноября 1937 года определена высшая мера наказания. Расстрелян 24 ноября 1937 года.

Определением Военного Трибунала Воронежского Военного округа от 13 сентября 1957 года постановление

Комиссии НКВД и Прокурора СССР от 19 ноября 1937 года в отношении Безбородова С. К. отменено, и дело прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. Безбородов С. К. по данному делу реабилитирован.

Из материалов дела

Безбородов С. К. в 1925 году работал заведующим редакцией газеты «Комсомольская правда».

В 1928 году был откомандирован в Ленинград заведовать ленинградским отделением «Комсомольской правды», одновременно работал спецкором «Известий» в Ленинграде. В 1937 году штатную работу в газетах оставил, не переставая печататься в них.

В 1933 году выезжал на зимовку на Землю Франца Иосифа. Вернулся в 1934 году и написал книгу «На краю света».

К моменту ареста работал в Ленинградском Госиздате.

«В ЭТОЙ КНИГЕ ВСЕ — ПРАВДА...»

В конце 20-х — начале 30-х годов в «Комсомольской правде», а потом в «Известиях» часто публиковались корреспонденции Сергея Константиновича Безбородова. Сегодня имя этого почти забытого журналиста и литератора следует вспомнить не только потому, что очерки и статьи его были по-настоящему публицистичны и злободневны. Безбородов — один из самых талантливых и многообещающих детских писателей, которых растил и воспитывал Лендетиздат 30-х — знаменитая «Академия Маршака».

В детскую литературу Безбородов-журналист шел от самых значительных событий своего времени. Юные читатели нуждались в свежем жизненном материале, который буквально рвался со страниц тогдашних газет.

Первым публицистическим взрывом в детской литературе был «Рассказ о великом плане» М. Ильина (1930), вторым — «Большевики открыли Сибирь» С. Безбородова (1932). Книга была настолько нужной и интересной, что уже через два года вышло ее второе издание.

Сибирь — «острожный край», место гиблое, страшное, о котором и «песни-то остались только разбойничьи да

каторжные», как писал Безбородов, была большевиками по сути дела открыта заново. Они покончили со старой Сибирью помещиков и капиталистов. И оказалось: в тех местах, о которых в старых словарях писали, что в «Кузнецком Алатау есть какие-то залежи неважного бурого каменного угля», таились огромные богатства.

Первая детская книга Безбородова была, конечно, детищем журналистского периода его работы. Но она вышла в Лендетиздате, где каждый, по словам С. Маршака, «повышался в своей квалификации». Что значат эти слова в применении к С. Безбородову? Это мы видим по второй, уже художественной, точнее, художественно-документальной его повести «На краю света» (1937). Родилась она тоже из журналистского опыта автора, отправившегося в качестве метеоролога-наблюдателя осенью 1933 года на Землю Франца Иосифа, чтобы в составе одной из первых советских экспедиций принять участие в зимовке.

«Дать жизнь такой, как она есть, со всеми ее хорошими и темными сторонами, — вот задача автора... В этой книге все — правда», — писал в предисловии к книге профессор В. Визе.

Повесть насыщена юмором, в ней комичны и собачонка, что «часто и мелко чесалась, точно играла на балалайке „Светит месяц“», и другие черточки жизни зимовщиков, и облик иных персонажей, например, не умеющего ни ходить на лыжах, ни стрелять метеоролога Ромашникова.

Безбородовский юмор делает героя ближе, понятнее, симпатичнее. Боря Желтобрюх, в сущности, душевно чистый, открытый, пусть и наивный в чем-то человек, по возрасту и всему своему мальчишескому облику — самый близкий читателю. А неумеха Ромашников оказывается на редкость старательной сиделкой во время всеобщей болезни. Но нигде юмор писателя не согревает людей мелких, своекорыстных, себялюбивых, таких как заносчивый и вздорный летчик Шорохов.

Точное знание Безбородовым арктических условий, глубокое раскрытие характеров в их взаимосвязях и взаимоотношениях, тонкий лиризм книги, наконец четкая, прямая нравственная позиция — все это породило сплав художественности с неопровержимостью факта, документа. Из повести «На краю света» можно извлечь массу сведений о природе далекого Заполярья, о работе метеорологических станций, их назначении и целях. Но источники этих сведений не обезличены. Разве спутаешь добродушно-

строгого врача, начальника зимовки Наумыча с деликатным интеллигентом, магнитологом Стучинским? Яркая, колоритная речь героев звучит так живо, что кажется, будто мы знали этих людей лично.

Не удивительно, что к концу повести так резко выявляется расслоение кажущейся вначале монолитной зимовки на две далеко не равные части: людей, крепко спаянных работой, бескорыстием, дружбой, и людей мелких, эгоистичных. Преступление Шорохова, улетевшего в непогоду без карты и метеопрогноза и погубившего самолет,— это результат нелепой попытки доказать свою «независимость». «Неправда, что здесь жить легче. Здесь жить неизмеримо труднее, потому что все хорошее и все дурное, что есть в человеке, никуда здесь спрятать нельзя».

Эта повесть о силе и сплоченности настоящего товарищества в невероятно трудных условиях. О том, как трудности сплывают коллектив, не только вытолкнувший из своей среды людей малодушных и себялюбивых, но и воспитавший настоящую личность.

Перу Безбородова кроме повести «На краю света» принадлежит очерк о В. Коккинаки «Летать выше всех», несколько других талантливо написанных рассказов. Недаром в 1969 году, вспоминая Лендетиздат 30-х, писатель И. Рахтанов назвал головокружительным тот уровень, на который Маршак поднимал литературных новичков. «Скольким людям он помог найти себя!» — писал он, имея в виду ту живительную, чрезвычайно заинтересованную, «уютную» для писателей обстановку маршаковской редакции. Выращивая и воспитывая молодых авторов, Маршак опирался на яркие дарования Р. Васильевой, И. Шорина, Л. Будогоской, М. Ильина. И на С. Безбородова тоже.

В одной из статей 30-х годов Безбородов писал о том, что объединяет книги, выпущенные Лендетиздатом: «Это прежде всего точность. Точность в описании лошади и паровоза, медвежонка и водолазного скафандра. В детской книге не может быть ничего приблизительного, тусклого, недопроявленного. Для детей нельзя писать понаслышке».

Таковыми были и произведения самого Безбородова.

И, как имя всякого настоящего писателя, имя его не может, не должно быть забыто. Лучшая его повесть и сегодня учит мужеству, чувству товарищества, благородству, трудолюбию — тем качествам, которые отличали и самого ее автора.

Елена Щеглова

Фотография

не
найдена

**Георгий
Еремеевич
БЕЛИЦКИЙ**

1905—1938

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Белицкий Георгий Еремеевич, 1 января 1905 года рождения, уроженец г. Ростова-на-Дону, еврей, гражданин СССР, член ВКП(б) с 1930 года, исключен (постановление уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) 2 сентября 1936 года) за пособничество в контрреволюционной работе сотрудника «Ленфильма» Беляева, литературный работник (член Союза советских писателей), проживал: Ленинград, Колокольная ул., д. 8, кв. 9
жена — Иммерман Генриетта Германовна, 31 год (в 1937 году)
дочь — Белицкая Лариса, 8 лет

Арестован 27 октября 1937 года Управлением НКВД по Ленинградской области. Обвинялся по ст. 58-7 УК РСФСР (подрыв государственной промышленности, транспорта, связи... в контрреволюционных целях), 58-8 (террористический акт), 58-11 (организационная деятель-

ность, направленная к совершению контрреволюционного преступления).

18 мая 1938 года приговором Военной Коллегии Верховного Суда СССР определена высшая мера наказания — расстрел. Расстрелян 18 мая 1938 года.

Определением Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 19 марта 1957 года приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 18 мая 1938 года в отношении Белицкого Г. Е. отменен, и дело прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Белицкий Г. Е. по данному делу реабилитирован.

Из материалов дела

Белицкий Г. Е. родился в 1905 году в семье железнодорожного служащего. Учился в Ростовском университете, откуда ушел с 3-го курса.

С 1921 по 1922 год работал в Ростове в Управлении местного транспорта.

В 1923—1924 годах учился в Литературно-художественном институте и работал литератором в Москве.

В начале 1925 года приехал в Ленинград. Работал руководителем литературных кружков в клубах, а затем заведующим литературным отделом в газете «Смена». В 1926 году перешел на работу в газету «Ленинградская правда» фельетонистом.

В январе 1930 года переехал работать в Новгород заместителем редактора газеты «Звезда». С января 1932 года работал в обкоме ВКП(б) инструктором по массовой литературе. Весной 1933 года был избран ответственным секретарем Всесоюзного драматического союза писателей (впоследствии секции драматургов Союза писателей). С апреля 1934 года — ответственный секретарь редакции «Литературного Ленинграда». С декабря 1935 года — заведующий сценарным отделом «Ленфильма».

Из книги «Писатели Ленинграда»

Белицкий Георгий Еремеевич (?—1938), драматург, публицист. В середине 30-х годов был ответственным сек-

редактором газеты «Литературный Ленинград». Автор ряда литературоведческих статей (см. в книгах: «Перед боями» (1933); «Ранний буржуазный реализм» (1936).

Рабкору смерть: Пьеса в 2-х актах и 8-ми эпизодах. М.—Л., 1928; Сплетня: Бытовая комсомольская пьеса. Л., 1926; Турецкая трубка: Пьеса в 4-х актах. М.—Л., 1929.— В соавторстве с Л. Жежеленко; Враг в цеху. Л., 1930; Коммунисты на полях. Л., 1930; В одной районной газете. Л., 1931; Колхозный политотдел. М.—Л., 1932; Массовая работа районной газеты. Л., 1932; По-ленински воспитать колхозный актив. Л., 1933; Создать и воспитать колхозный актив. Л., 1933; Пир.— В книге: Колхозный строй. Л., 1934.— В соавторстве с Л. Жежеленко; Овеянные славой: Книга о знатных людях Октябрьской железной дороги. Л., 1936.

СССР

Народный Комиссариат Внутренних Дел

Архив ВЧК — ОГПУ — УНКВД СССР
по Ленинградской областиУЧТЕНО
в 1962 г.Год производства 19 *38*

СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО

№ 54699-

по обвинению

*Беркова**Тавла Кауловна*

Арх. №

П-5543

Полученное из архива дело должно быть возвращено через 10 дней с момента получения. Передача документов из архива другим отделам или органам производится исключительно через 1 спецотдел УНКВД ЛО.

Арх. № *32994*Том № */*

Переплетено в 194 г.

Дело в */* томах



Павел Наумович БЕРКОВ

1896—1969

Об эрудиции профессора Павла Наумовича Беркова ходили легенды. Говорили, что он знает все. Автор более чем двадцати книг и семисот научных статей, Берков с 1934 года и до конца дней (1969) вел в Ленинградском университете курсы теории литературы, введения в литературоведение, литературы XVIII века, истории журналистики, уже в зрелом возрасте стал признанным специалистом в области национальных литератур.

Этот спокойный, всецело погруженный в свою науку человек, тоже сидел и носил титул врага народа. А вся беда его была в том, что он, родившийся в Аккермане (1896), находился в Бессарабии, когда туда вошли румынские войска, и в 1921—1923 годах учился в Венском университете. Получив степень доктора философии, он вернулся в Россию и преподавал русский язык и литературу, был директором школы, затем перешел на научную работу.

В 1938—1939 годах Берков 14 месяцев провел в заключении. От него требовали признания, что он австрийский шпион!.. А через десять лет — новая трагедия: кампания против космополитов. Кампания шла по плану, и аспиранты-недоучки и партийные деятели (некоторые, кстати, и сами вскоре сели) в переполненных залах разоблачали новых врагов, как тогда говорили, коварно пробравшихся в науку...

Владимир Бахтин



**Григорий
Георгиевич
БЕЛЫХ**

1906—1938

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Белых Григорий Георгиевич, 1906 года рождения, уроженец Ленинграда, русский, гражданин СССР, беспартийный, писатель (член Союза советских писателей), проживал: Ленинград, пр. Красных командиров, д. 7, кв. 21
жена — Грамм Раиса Соломоновна
дочь — Николаева Татьяна Ефимовна

27 декабря 1935 года в связи с обвинением по ст. 58-10 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда) УНКВД по Ленинградской области была взята подписка о невыезде.

Приговором Специальной Коллегии при Ленинградском областном суде от 25 февраля 1936 года определено 3 года лишения свободы. Определением Спецколлегии Верховного Суда РСФСР от 10 апреля 1936 года приговор оставлен в силе.

Данных о дате, причине смерти и месте захоронения Белых Г. Г. в деле не имеется, однако есть свидетельство

писателя Л. Пантелеева, из которого следует, что Белых Г. Г. скончался летом 1938 года в Ленинграде в тюремной больнице им. Газа. Постановлением Президиума Верховного Суда РСФСР от 26 марта 1957 года приговор Ленинградского областного суда от 25 февраля 1936 года и определение Специальной Коллегии Верховного Суда РСФСР от 10 апреля 1936 года в отношении Белых Г. Г. отменены, и дело прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Белых Г. Г. по данному делу реабилитирован.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Белых Григорий Георгиевич (20 или 21.VIII.1906, Петербург — 1938), прозаик, детский писатель. Был беспризорником. Учился в Школе социально-индивидуального воспитания им. Ф. М. Достоевского (ШКИД). Занимался журналистикой в Ленинграде. Наиболее значительное произведение — «Республика Шкид» — написано вместе с другим воспитанником этой школы Л. Пантелеевым.

Республика Шкид: Повесть. Л., 1927 и др. изд.— В соавторстве с Л. Пантелеевым; Сидорова коза: Пионерские юмористические рассказы. Л., 1929.— В соавторстве с Е. Пайном; Лапти: Из шкидских рассказов. М., 1930; Белогвардеец: Из шкидских рассказов. М., 1930; Дом веселых нищих: Повесть. Л., 1930 и др. изд.; Холщовые передники: Повесть. М.—Л., 1932; Американская каша: Рассказы. М.—Л., 1932.— В соавторстве с Л. Пантелеевым.

«ПУТЬ НАШ ДЛИНЕН И СУРОВ»

Невероятный успех, который выпал на долю «Республики Шкид», сразу сделал широко известными имена двух молодых авторов — Гр. Белых и Л. Пантелеева. Начиная с 1927 года, книга переиздавалась ежегодно, пока в 1937 году не была изъята из употребления — чуть ли не на четверть века.

«Республика Шкид» приобрела прежнюю популярность, но имя одного из ее авторов — Г. Белых почти неизвестно широкому читателю. Только сейчас, когда появилась воз-

возможность познакомиться с его «делом» и получить, вероятно, далеко не полный материал, можно в какой-то мере представить его жизнь, его судьбу, понять, почему одаренный и яркий литератор так мало печатался в 30-е годы. Только сейчас, знакомясь с ранее неизвестными фактами его биографии, можно убедиться, что он не только многое тогда понимал, но уже на многое и отваживался.

Далеко не невинными были те материалы, которые родственник вынул из ящика его письменного стола с тем, чтобы передать «по назначению». Что сделал это муж сестры Белых, сделал из-за мелких неурядиц коммунальной квартиры,— это, кажущееся по меркам человеческой морали страшным, противоестественным, как раз было, с точки зрения того времени, поступком будничным и рядовым.

«Длинная очередь к тюремному окошечку на Шпалерной была обычным явлением в годы сталинского террора в Ленинграде. Но была тогда и другая, может быть, не менее длинная очередь в приемную НКВД: там стояли те, кто хотел свести счеты с недругом, во что бы то ни стало упрятать за решетку неугодного. В том и состояла безнравственность сталинщины, что она использовала в своих целях самое низменное, самое гнусное в человеке»¹.

Почти вся жизнь Григория Георгиевича Белых (20 августа 1906, Петербург — 14 августа 1938, Ленинград) прошла в доме № 7 по Измайловскому проспекту. Дом был огромный. Внутри, на задворках, находилось двухэтажное строение, прозванное «Смурыгиным дворцом». Задворки эти были — самая шумная и самая населенная часть всего здания; их окрестили «Домом веселых нищих».

Здесь и прошло все детство Гриши Белых. Был он самым младшим в семье. Отец умер рано, главной кормилицей оставалась мать, Любовь Никифоровна, прачка, поденщица (впоследствии работала на «Красном треугольнике»).

Детство Гриши было похоже на дворовое детство сверстников. Он рано овладел грамотой, но как только убедился, что его познаний хватает, чтобы читать «сыщиков» — «Ната Пинкертона» и «Боба Руланда», забросил школу и больше учиться не захотел.

Когда началась война, сначала мировая, потом гражданская, и жизнь семьи рухнула, он, как и сотни питерских

¹ Лунин Е. Как погиб Григорий Белых.— «Юридическая газета», № 0, апрель, 1990 года.

мальчишек, стал парнишкой улицы. Его длинные пальцы ловко обрабатывали кружку с пожертвованиями у часовни; вместе с другими мальчишками он, обзаведясь санками, дежурил у вокзалов и перевозил тяжелые мешки за буханку хлеба.

В 1920 году в числе ребят, собранных из детских колоний, прямо с улицы, из распределителей, из тюрем, Гриша Белых оказался в только что открытом на месте старого коммерческого училища (Старо-Петергофский проспект, ныне пр. Газа, 19) заведении со сложным названием: «Школа социально-индивидуального воспитания имени Достоевского для трудновоспитуемых». Следуя привычке блатного мира, название ребята изменили, сделали его привычным для себя: получилось ШКИДА. Имя, отчество и фамилия заведующего — Виктора Николаевича Сороки-Росинского сократили до Викниксора, а каждый воспитанник получил прозвище. Меткий глаз беспризорника выделял характерные внешние признаки, и вот уже черноволосый, с густой вьющейся шевелюрой Николай Громоносцев стал Цыганом, толстый и ленивый барон фон-Оффенбах — Купцом, subtilный, с чуть раскосыми глазами Еонин — Японцем, светловолосый, но с длинным покатым носом Гриша Белых — Янкелем, за ними следовали не менее колоритные Горбушка, Воробей, Голый барин, Турка, Гужбан и так далее.

В наши дни имя В. Н. Сороки-Росинского уже вошло в историю отечественной педагогики и заняло подобающее место в ряду выдающихся ее деятелей. Особенности школы, где занимались по десять часов в день, где прививали интерес к истории и литературе, где выпускали свои газеты и журналы, ощутили на себе многие ребята. Чуть ли не на первом уроке «Янкель впервые почувствовал, что наконец-то найден берег, найдена тихая пристань, от которой он теперь не отчалит».

Пристань была отнюдь не тихой, и как раз наибольший авторитет принадлежал Янкелю за несомненное мастерство бузы, хотя не менее ценились его издательский и художнический талант.

Теплую и любовную характеристику о Грише Белых оставил в своей незавершенной рукописи «Школа имени Достоевского» В. Н. Сорока-Росинский, отметив, в первую очередь, его литературное дарование: «Гр. Белых еще в бытность свою в школе обладал столь редким среди наших писателей чувством юмора. Его юмористические статейки,

появлявшиеся в многочисленных журналах школы, заставляли от души смеяться даже тех, кто сам бывал их жертвой, даже педагогов». И дальше: «Был Гр. Белых и очень талантливым рисовальщиком-карикатуристом и сам иногда иллюстрировал свои статейки. Иногда его юмор переходил в язвительную иронию, а карикатура — в шарж: ради красного словца Белых не пощадил бы и родного отца, но при всем этом обладал чувством меры: он никогда не грешил против истины, мог шаржировать, но не выдумывал небылиц. Он был настоящим реалистом»¹.

Впрочем, рассказ «Спичкин в аду» является безусловным свидетельством богатой фантазии автора.

В соавторстве с Еониным Белых был создателем шкидского гимна, который пелся на мотив «Гаудеамуса». И позднее, где бы и когда бы ни встречались бывшие шкидцы, они обязательно затягивали:

...Школа Достоевского,
Будь нам мать родная,
Научи, как надо жить
Для родного края.
...Путь наш длинен и суров,
Много предстоит трудов,
Чтобы выйти в лю-у-ди.
Чтобы вы-и-й-ти в лю-у-ди!

К концу третьего года пребывания в Шкиде началась дружба, или, как это там называлось, «слама» Белых с Ленькой Пантелеевым (прозвище это Алексей Еремеев получил в честь известного налетчика): эта «слама» была особенной. Ребят связали любовь к литературе, увлечение кинематографом, общие планы, мечты. Уже в Шкиде они пытались создать нечто свое, «шкидкино», вместе сочиняли лихие романы. «В течение целого месяца, — вспоминает Л. Пантелеев, — Гриша Белых и я выпускали газету „День“ в двух изданиях — дневном и вечернем — причем в вечернем выпуске печатался изо дня в день большой приключенческий роман „Ультус Фантомас за власть Советов“».

В конце третьего года для Гриши и второго для Алексея они получили разрешение покинуть Шкиду. Они готови-

¹ Пользуясь любезным разрешением сына педагога, К. В. Россинского, автор статьи получил возможность много лет назад снять копию с указанной рукописи. Частично она публиковалась в книге Л. Кабо «Жил на свете учитель». Приведенный выше текст публикуется впервые.

лись начать новую жизнь и начать ее с путешествия в Баку, к режиссеру Перестиани, снимавшему фильм «Красные дьяволята»; надеялись сразу же поступить к нему на службу — режиссерами либо актерами. А пока, чтобы скопить денег на дорогу, понемногу начали печататься в юмористическом журнале «Бегемот», в «Смене», в «Кинонеделе». Там однажды Гриша Белых напечатал статью «Нам нужен Чарли Чаплин», скромно предложив на этот «пост»... свою кандидатуру. Увы, они добрались только до Харькова и вместо лавров кинодеятелей с трудом получили одно временное место на двоих — ученика киномеханика.

Незабываемым было другое: в 1925 году мать Гриши предложила Алексею жить у них: комнатка была возле кухни, в квартире на том же Измайловском, 7. Около трех лет друзья провели здесь вместе. Сюда к молодым авторам приходили впоследствии С. Маршак, Е. Шварц, художник Л. Лебедев, редактор веселых журналов «Еж» и «Чиж» Николай Олейников. Здесь бывали и ночевали многие шкидцы.

В одном журнальном интервью Пантелеев вспоминал, как однажды морозным вечером 1926 года они с Гришей шли в кинематограф «Астория», и Гриша вдруг неожиданно сказал: «Давай писать книгу о Шкиде!» Будущие летописцы Шкиды наскребли денег, купили махорки, пшена, сахара, чая и, запершись в Гришиной комнате, приступили к делу. В узкой комнате с окном, выходящим на задний двор, стояли две койки, между ними — небольшой стол. Что нужно было еще?!

В свое время, работая над книгой о творчестве Л. Пантелеева, я спросила у Алексея Ивановича, как именно они писали вдвоем? Ответ оказался очень простым: был составлен план на тридцать два сюжета, каждому досталось поровну — по шестнадцать глав. Алексей Еремеев попал в Шкиду примерно на год позже Гриши: первые десять глав, до главы «Ленька Пантелеев», естественно, пришли на Белых: внимательный читатель этих десяти глав выделит и остальные шесть. Алексей Иванович подтвердил мои предположения относительно этих шести. Он охотно говорил, что своему броскому успеху книга обязана Грише; именно первые главы сконцентрировали самое горячее, самое неожиданное, конфликтное и взрывное, что отличало существование такого неуправляемого организма, каким была в своем начале Шкида. Именно десять первых глав вместили то главное, что потом позволило говорить об

этой книге, как о «преоригинальной, живой, веселой, жуткой» (М. Горький). В этих главах обозначились и определились характеры главных героев, обрисовалась «монументальная» фигура мудрого, наивного, карающего и прощающего шкидского президента Викниксора.

На долю Белых пришла, может быть, чуть ли не трагическая история в жизни Шкиды, когда в ней появился маленький «паучок» Слаенов, опутавший долгами почти всех ребят и ставший в ней хлебным королем. И в совсем неожиданном, лирическом ключе пишется одна из заключительных глав — «Шкида влюбляется», где автобиографический герой изображен в ситуациях уже трагикомических, как грустный неудачник, дважды прозевавший свою любовь.

Удачей стала написанная Белых уже в одиночку книга «Дом веселых нищих» (1930). В ней проявился тот же темперамент, то же умение ярко, сильно выделить характеры и ситуации. По свидетельству Пантелеева, в книге нет вымышленных героев: мать, Любовь Никифорова, братья, сестра, дед, бесчисленное количество ремесленников, мастеровых и сверстников героя — всем им он сохранил свои имена (кроме своего — себя он вывел под именем Романа Рожнова).

Пестрые и разнообразные эпизоды складываются в картину жизни «Смурыгина дворца», по-своему отразившую дух Петрограда предреволюционных и революционных лет.

Отдельными изданиями выходили новые рассказы Белых о Шкиде, среди них выделяется рассказ «Белогвардеец», острый, актуальный на все времена — о том, как один человек в короткий срок смог растлить чуть ли не всю Шкиду, отличающуюся именно тем, что она не знала до этого никаких предрассудков.

Еще одна сторона деятельности Викниксора раскрывается в рассказе «Лапти»:

Шкидский люд покрыт позором,
По приказу Викниксора
Стали лапти обувать.
И, наверно, будем скоро
По приказу Викниксора
Даже лаптем щи хлебать...

Конечно, и в той войне, которую объявила Шкида лаптям, Викниксор оказался мудр и прав.

В начале 30-х годов Белых работал над историко-революционным романом «Холщовые передники». Этот роман не стал событием, он словно написан другим человеком, все правильно, все на месте, а чего-то главного нет. Писатель присматривался к современным ребятам: чем они живут, что делают?

В 1935 году в журнале «Детская литература» появилась его статья «О книгах, читателях, героях», статья горячая, писал ее увлеченный литературой человек, которому хотелось сказать много важного, продуманного, о самом главном для юности — о дружбе, о путешествиях, о труде, о любви...

В «деле» Белых имеются тридцать с лишним частушек. По словам дочери писателя, как ей рассказывали позже, отец последние годы увлекался собиранием народной поэзии. Трудно сейчас определить, какие частушки он записал, какие сочинил сам.

Некоторые частушки, вероятно, показались безобидными, а некоторые выделены чертой, как наиболее криминальные. Вот несколько из них:

Не боюсь я мороза ¹
А боюсь холода
Не боюсь я колхоза
А боюсь голода.

Ты колхоз, ты колхоз
Ты большая здания
Мужикам доить коров
Бабам на собрание.

В колхоз пошла
Юбка новая
Из колхоза ушла
Ж... голая.

Наше полюшко гористо
Сеем всяки семена
Сеем бобу и гороху
А растет одна трава.

¹ Материалы взяты из дела Г. Г. Белых. В частушках пунктуация сохраняется в том виде, какой она была в тексте.

Ах, калина, калина
Много жен у Сталина
У колхозника одна
Холодна и голодна.

Григорий Белых пробыл в тюрьме два с половиной года, сидел он в Крестах. Известно, что Алексей Иванович Пантелеев пытался хлопотать за него, посылал телеграммы Сталину с просьбой облегчить лагерные условия тяжело больному туберкулезом человеку.

Существует последнее письмо Белых, адресованное Пантелееву, со штемпелем на конверте от 11.8.38, т. е. за три дня до смерти. Это ответ на письмо Алексея Ивановича. Читать его трудно: страшно смотреть на прыгающие, порой бессвязные и алогичные строчки, но еще страшнее представить себе состояние совершенно больного человека, в сознании которого уже многое путается, хотя где-то он еще верит в будущее: «Надеялся я еще на пару свиданий в августе и на одном увидеть тебя. Посидеть на табуреточке и поговорить с тобой о самых простых вещах... Наконец, разве нечего нам сказать о задуманном, об испорченном, о дурном и хорошем, чем несет в воздухе». И тут же рядом: «Алексей, у меня странное такое впечатление, что я пишу, а меня волокут наверх санитары, отчего и строчки дрожат».

Он ждет своего близкого дня рождения, верит в какой-то по этому поводу маленький праздник. И вдруг заключительная строка: «Кончено все...»

Евгения Путилова



**Ольга
Федоровна
БЕРГГОЛЬЦ**

1910—1975

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
27 ноября 1989 года
№ 10/28—015832
Ленинград

В результате проведенной поисковой работы наличия в архивах КГБ МВД уголовного дела по обвинению О. Ф. Берггольц не обнаружено.

По сохранившимся учетам Ленинградской тюрьмы ГУГБ значится: Берггольц Ольга Федоровна, 1910 года рождения, уроженка Ленинграда, русская, кандидат в члены ВКП(б), с высшим образованием, писатель (работает на дому), ранее не судима, проживала по адресу: Ленинград, ул. Рубинштейна, д. 7, кв. 30.

Арестована УНКВД по Ленинградской области 14 декабря 1938 года (ордер на арест № 11/046 от 13 декабря 1938 года).

С 8 апреля по 10 апреля 1939 года находилась во внутренней тюремной больнице (причина болезни не указана), откуда была направлена в Областную больницу для составления заключения. Возвращена 22 апреля 1939 года. 3 июня 1939 года из-под стражи освобождена за недоказанностью состава преступления.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Берггольц Ольга Федоровна (16.V.1910, Петербург — 13.XI.1975, Ленинград), поэт, прозаик, драматург. Член КПСС с 1940 года. Лауреат Государственной премии СССР (1952 — за поэму «Первороссийск»). Окончила филологический факультет Ленинградского университета (1930). Печаталась с 1925 года. Была разъездным корреспондентом и литературным сотрудником газеты «Советская степь» (Алма-Ата), редактором комсомольской странички многотиражной газеты завода «Электросила». В 1934—1941 годах работала над книгой по истории этого завода, отдельные главы печатались в журналах «Звезда» и «Литературный современник» в 1935—1938 годах. Эта работа была продолжена в 1950-е годы (публикации 1958 года в журнале «Нева» и «Ленинградском альманахе»). В годы Великой Отечественной войны работала в Ленинградском радиокомитете, выступала как поэт и публицист, писала сатирические произведения, которые вошли в сборник «Балтфлот смеется», публиковалась в ленинградских «Окнах ТАСС», написала четыре поэмы: «Февральский дневник», «Ленинградская поэма», «Памяти защитников», «Твой путь». Пьеса «Рождены в Ленинграде» была поставлена в Ленинградском драматическом театре им. В. Ф. Комиссаржевской (1961). В 1952 году находилась на строительстве Волго-Донского канала. В 1959—1960 годах совершила поездку по Енисею и была на строительстве Бухтарминской ГЭС на Алтае. Очерки об этих поездках публиковались в «Литературной газете». По ее сценариям сняты фильмы «Ленинградская симфония», «Первороссияне». По книге «Дневные звезды» режиссером И. Таланкиным поставлен одноименный фильм. Награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями. Автобиографию см. в книге: «Советские писатели: Автобиографии». М., 1972, т. 4 (Архив находится в ЦГАЛИ).

«И СНОВА БУДУ ЖИТЬ...»

В Ленинграде нет музея-квартиры О. Ф. Берггольц. Место ее последнего упокоения в 1975 году, хоть и почетное — на Литераторских мостках Волкова кладбища,— однако не там, где она хотела бы лежать, не на Пискарев-

ке, рядом с десятками тысяч сограждан, героев и мучеников блокады, о которых она сказала в своей эпитафии: «Никто не забыт...»

Заслуги Ольги Берггольц как будто бы и признавались, ее чтили и все же «наверху» недолюбливали за своеволие, строптивость, свободомыслие, категорическое нежелание подлаживаться к догме, к «руководящим указаниям». Она не подписывала — в порядке партийной дисциплины — никаких позорных документов. Одной из первых она высказалась по поводу того, что Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» надо отменить, и угодила за это в некое «закрытое письмо», в результате чего ее имя склоняли, а публикацию ее произведений и работ, посвященных ей, придерживали.

Камера ежовской тюрьмы, через которую Ольга Берггольц прошла в конце 30-х годов, травмировала ее на всю жизнь, но из этого страшного испытания она вынесла удивительно чуткую и вызывающе бесстрашную душу.

Конечно, ей хотелось и тепла, и домашнего уюта, но жизнь беспощадно отнимала у нее простые земные радости, зажигая над Поэтом «неженские созвездия». Ольге Берггольц выпало предназначение трагического Поэта своей эпохи. Первый акт трагедии — конец 30-х, второй — блокада.

Работая над книгой об Ольге Берггольц, я читала ее военный дневник и в нем находила дополнительный — трагический — комментарий к широко известным стихам, к той же поэме «Февральский дневник». Она сознавала, что переживаемое ленинградцами есть «страшное бедствие, уродство, позор, смрад, людское бесчестие и величайшая глупость и бессмыслица. Мы знаем об этом,— размышляла она.— Дико говорить, что мы счастливы этим и радуемся этому. О, лучше, лучше было бы, если б не было этого ленинградского героизма и мужества,— этот героизм — ужас, уродство, бред. Но раз так получилось, раз уж так дико устроен мир, что приходится жить в бреду, ...то слава тем, кто в этом бреду обретает счастье и чувствует, что живет и вдруг наслаждается жизнью! Это носители Жизни, это она самая» (20 января 1942 года).

Я познакомилась с Ольгой Федоровной Берггольц в мае 1955 года. Ей исполнилось 45 лет. «...Не замерзнет ручей улыбки на весеннем твоём лице»,— писал ей Михаил Светлов. Несмотря на все пережитое, она была исполнена

прелести, обаяния, хоть и горького. Шла середина века, время благих перемен, XX съезда, пора надежд. В «Новом мире» у Твардовского печатались ее новые стихи о возвращении друзей «со дна морей, с каналов». Она гордилась тем, что позже главы «Дневных звезд» тоже принял Твардовский. Как заразительно она еще могла смеяться! И что-то напевать! Как легко стучали ее каблучки по улице Рубинштейна (она жила тогда в доме № 22), когда возвращалась с филармонического концерта: после долгого перерыва под управлением Евгения Мравинского исполнялась Пятая симфония ее любимого композитора Д. Д. Шостаковича.

Многое тогда вернулось в нашу жизнь, в наше искусство, насильно отнятое. Однако надежды на общественное обновление скоро оказались попораны. В сентябре 1968 года, когда я навещала Ольгу Федоровну, больную, на Черной речке, 20 (это ее последняя квартира), она сказала: «Знаешь, во что я меньше всего верю? — В витамины и в демократию». Но замкнуться, замолчать она не считала для себя возможным, пока позволяли силы. Я нашла среди бумаг записи, сделанные со слов О. Ф. Берггольц, очевидно, в конце 1967 года, поскольку речь идет о двухтомнике, вышедшем в Ленинградском отделении Гослитиздата. Она «очень довольна оформлением — стремительной, символической росписью» (художник М. Е. Новиков). Ее радует «блистательное вступление А. Яшина — лучшее, что могла бы о себе услышать, — очень строго и доброжелательно». Она говорит, что «многим обязана А. С. Рулевой», превосходному своему редактору.

В 1967 году завершилась работа над двумя кинофильмами по произведениям О. Ф. Берггольц. О «Дневных звездах» в режиссуре И. Таланкина она говорила: «Картина, по-моему, прекрасная. Нравится легкость и непредвзятость к безумно трагедийной теме... И. Таланкин попросил не присутствовать на съемках. Они происходили, в частности, у Литейного моста (повезло с натурой — зима холодная, как в блокаду)». Она была под сильным впечатлением от игры Аллы Демидовой: «...Как она идет к отцу! Как упорно она идет!» — восклицала Ольга Федоровна, заново переживая свой «поход за Невскую заставу», — пешком, через блокадный город, в январе 1942 года, когда умер муж, поход к отцу Федору Христофоровичу, единственному близкому человеку, оставшемуся в Ленинграде заводскому врачу, который продолжал, как мог, исцелять

людей (в фильме роль отца замечательно исполнил А. Попов).

Литературный сценарий «Первороссиян» О. Берггольц написала сама. Благодаря постановщику А. Г. Иванову и оператору Е. Шапиро получился фильм-фреска, где «великолепные крупные планы».

Ольга Федоровна рассказывала, что пишет вторую часть «Дневных звезд» и хочет «вложить» в книгу дневники, которые чудом уцелели, читала из дневников: «Сегодня я пришла из тюрьмы. Я пробыла в ней 149 дней». И продолжала: «Сколько бы лет я ни жила, я этих дней не забуду. Все главные стихи оставлены для этой книги. Там будет много о моем друге и муже Николае Степановиче Молчанове. Никого прекраснее и выше этого человека я не знала. Свободный, развернутый, прекрасный человек, гордый человек».

Ольга Берггольц была человеком своего поколения. Она умела дружить. И друзья любили ее. К шестидесятилетию Ольги Федоровны, в мае 1970 года, в Доме писателя имени Вл. Маяковского ей устроили большой праздник. «...Мы ей скажем осторожно, громким шепотом: „Живи!“» — читал Михаил Дудин. Падал на колено, целуя край ее платья, Павел Антокольский, поздравляли Владимир Николаевич Орлов, Лев Ильич Левин, Александр Межиров, Натан Альтман... А те, кто приехать не смог, прислали телеграммы:

С праздником тебя Оленька с самым главным праздником нашей жизни сколько б нам ни было лет с днем рождения

Маргарита Алигер

Милая Оля крепко тебя обнимаю люблю глубоко уважаю желаю тебе в этот день счастья и хорошей работы

Твой Константин Симонов

Поздравляю тебя милая Оля с самым дорогим для художника нестареющим талантом ты умница и сама понимаешь какое это счастье остается только быть здоровой чего тебе от души желаю

*Твой старый друг
Леонид Рахманов*

Милая Ольга день твоего юбилея вновь прими мою любовь и восхищение твоей поэзией желаю тебе долгих лет вдохновения

Кайсын Кулиев

Ты моя юность ты мое поколение ты мой персонаж ты моя поэзия

Александр Штейн

Все меньше остается тех, кто близко знал Ольгу Федоровну Берггольц. Но город ее судьбы Ленинград помнит все о своем Поэте, помнит счастливейшие и горчайшие страницы жизни Берггольц. Помнит — и тотчас отзывается на ее имя.

Наталья Банк

Фотография

не

найдена

**Анна
Абрамовна
БЕСКИНА**

1903—1937

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Бескина Анна Абрамовна, 10 октября 1903 года рождения, уроженка Минска, еврейка, гражданка СССР, член ВКП(б) с 1924 года, партбилет № 1001201, исключена Постановлением партколлегии при Уполномоченном КПК при Ленобласти, «как активный участник контрреволюционной террористической организации», доцент Государственного института искусствознания, член Союза советских писателей, проживала: Ленинград, ул. Радищева, д. 26, кв. 1

муж — Меламед Израиль Моисеевич, 36 лет

Арестована 30 апреля 1936 года Управлением НКВД по Ленинградской области. Обвинялась по ст. 17—58-8 УК РСФСР (пособничество в совершении террористического акта), ст. 58-11 (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления).

Приговором выездной сессии Верховного Суда СССР (Военной Коллегии) от 23 декабря 1936 года определено 10 лет тюремного заключения с последующим поражением в правах сроком на 5 лет.

Направлена в Белбалтлаг НКВД.

Постановлением Особой Тройки УНКВД ЛО от 9 октября 1937 года определена высшая мера наказания. Расстреляна 2 ноября 1937 года.

Определением Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 10 ноября 1956 года приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 23 декабря 1936 года и постановление Особой Тройки УНКВД ЛО от 9 октября 1937 года в отношении Бескиной А. А. отменены, и дело прекращено за отсутствием в ее действиях состава преступления.

Бескина А. А. по данному делу реабилитирована.

Из материалов дела

Бескина А. А. происходила из семьи служащих. Училась в гимназии, затем перешла в трудовую школу. С 14 лет ушла из дому и жила самостоятельно — уроками. В 1920 году вступила в комсомол.

В 1919—1920 годах работала инструктором в отделе социального обеспечения в г. Гомеле.

С 1921 по 1922 год работала секретарем завкома в Союзе полиграфистов.

С 1923 по 1925 год работала заведующей клубом в губотделе «Медсантруд», с 1925 по 1926 год — инструктором в Центральном отделе «Медсантруд».

С 1926 года — репортер в «Ленинградской правде».

С 1928 года — аспирантура ГИРК, по окончании которой была направлена в ГИХЛ.

*Фотография
не
найдена*

**Александр
Владимирович
БОБРИЩЕВ-
ПУШКИН**

1875—1937

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Бобрищев-Пушкин Александр Владимирович, 8 декабря 1875 года рождения, уроженец Ленинграда, русский, гражданин СССР, беспартийный, с 05.08.1933 года без определенных занятий, проживал: Ленинград, ул. Моховая, д. 10, кв. 15
жена — Мирзоева Ольга Голустовна, 40 лет, работала юристом в Коллегии защитников.

Арестован 10 января 1935 года Управлением НКВД по Ленинградской области. Обвинялся по ст. 58-8 УК РСФСР (террористический акт).

22 июня 1935 года Военный Трибунал Ленинградского Военного округа приговорил Бобрищева-Пушкина А. В. к высшей мере наказания. Определением Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 2 августа 1935 года высшая

мера наказания заменена десятью годами лишения свободы. Наказание отбывал в Соловецком ИТЛ.

Во время отбытия наказания постановлением Особой Тройки УНКВД ЛО от 9.10.1937 года была определена высшая мера наказания. Расстрелян 27 октября 1937 года в Ленинграде.

Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 20 февраля 1963 года приговор Военного Трибунала Ленинградского Военного округа от 22 июня 1935 года, определение Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 2 августа 1935 года, постановление Особой Тройки УНКВД ЛО от 9.10.1937 года в отношении Бобрищева-Пушкина А. В. отменено, и дело за отсутствием в его действиях состава преступления прекращено.

Бобрищев-Пушкин А. В. по данному делу реабилитирован.

Из материалов дела

Бобрищев-Пушкин А. В. родился 25 ноября (по старому стилю) 1875 года в Санкт-Петербурге. По социальному положению — потомственный дворянин. Учился в императорском училище правоведения (до 1896 года). По окончании училища работал в Петербурге у судебного следователя. В 1897 году работал в качестве помощника юриста-консультанта Юго-Восточных железных дорог и помощником присяжного поверенного.

С 1 апреля 1902 года был принят в присяжные поверенные округа Петербургской судебной палаты и оставался им до Октябрьской революции. Занимался литературным трудом и состоял членом драмсоюза с 1903 года. Сотрудничал в октябристских и примыкающих к ним газетах («Глос Москвы», «Голос правды», «Слово»).

С 1915 по 1917 год состоял уполномоченным дирекции театра А. С. Суворина (Малый театр).

В 1905 году вступил в партию «правого порядка».

С 1906 года по Февральскую революцию был членом «Союза 17 октября», где был избран членом Центрального Комитета и товарищем Председателя.

Во время Февральской революции оставался присяжным поверенным. После Октябрьской революции занимался ведением судебных дел.

Совместно с отцом (также присяжным поверенным) защищал в Ревтрибунале Пуришкевича.

В 1918 году работал актером в театре «Фантазия» (Петроград). В январе 1919 года выехал из Петрограда в Новороссийск, занятый добровольческой армией. Там работал присяжным поверенным и сотрудничал в газетах «Черноморский маяк» и «Черноморские ведомости».

В зимний сезон 1919/20 годов управлял Новороссийским театром. При приближении Красной Армии 13 марта 1920 года на пароходе «Святой Николай» отбыл в Сербию. Поселился в г. Земун. Сотрудничал в «Русской газете» (г. Белград). В декабре 1920 года переехал на жительство в Монте-Карло к матери.

С февраля 1921 года совместно с Ключниковым, Лукьяновым, Потехиным, Чахотиным, Садомаром основал в Париже эмигрантскую группу «Смена вех». Группой был издан сборник «Смена вех», издавался журнал «Смена вех» (Париж) и газета «Накануне» (Берлин).

В 1922 году был амнистирован и в 1923 году вернулся в СССР. С 1924 года состоял членом Коллегии защитников. Занимался также литературной и сценической деятельностью. Сотрудничал в журнале «Мир приключений», состоял членом драмсоюза, руководил ансамблем «Малый драматический театр».

5 августа 1933 года по собственному желанию вышел из Коллегии защитников.

23 августа 1933 года попал под автобус, который изувечил ему руку и с этого времени находился на иждивении жены.



**Михаил
Васильевич
БОРИСО-
ГЛЕБСКИЙ**

1896—1942

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Борисоглебский Михаил Васильевич, 1896 года рождения, уроженец Уфимской губернии Златоустовского уезда, Тирлянский завод, русский, гражданин СССР, член ВКП(б) с 1917 по 1920 год, исключен за нарушение партдисциплины, писатель, член Правления и секретарь СП, проживал: Ленинград, пер. Чернышев, д. 22, кв. 22
жена — Анна Федотовна, 33 лет
сын — Валентин, 12 лет
дочь — Лидия, 8 лет
дочь — Вера, 5 лет

Арестован 14 сентября 1926 года Полномочным Представительством ОГПУ в ЛВО. Обвинялся в связях с зарубежной эмигрантской организацией. 16 сентября 1926 года постановлением ПП ОГПУ в ЛВО дело производством прекращено.

Сведений о дальнейшей судьбе Борисоглебского М. В. не имеется.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Борисоглебский Михаил Васильевич (22.X.1896, Тирлянский завод — 28.III.1942), прозаик. В 1908—1910 годах беспризорничал. Усыновлен рабочим. В 1910—1915 годах учился живописи на правах послушника в Троице-Сергиевой лавре и в Школе живописи, ваяния и зодчества (Москва). В 1915—1917 годах служил в царской армии. За отказ идти в школу прапорщиков попал в штрафной батальон. С 1920 по 1923 год — ответственный секретарь газеты «Набат» (Троицк), с 1924 года — в Ленинграде. Был секретарем газеты и заведующим типографией на Невдубстрое, где в 1933 году сам набрал и напечатал книгу «Грани. Стихи, 1928—1933. На правах рукописи» тиражом 5 экземпляров. С 1935 года — редактор-организатор Ленинградского хореографического училища. Первое стихотворение — «Зачем судить?» — опубликовал в 1912 году. Писал стихи, фельетоны, рассказы. По его сценариям были сняты фильмы «Катька — бумажный ранет», в соавторстве с Б. Леонидовым (1926) и «На рельсах» (1927). Автобиографию см. в книге: Писатели. Автобиографии и портреты русских советских прозаиков (1928). Архив находится в Российской национальной библиотеке.

Сочинения с автобиографическим очерком и критической статьей: Кн. № 4. Троицк, 1923; Святая пыль: Повесть. Л., 1925 и 1927; Буга: Рассказы. Л., 1926; Джангырбай: Повесть. Л., 1926 и 1928; Осколок: Рассказы. Л., 1927; На перевале: Рассказ. М., 1927; Топь: Роман. Л., 1927; Катька — бумажный ранет: Рассказы. М., 1928; Кальва: Роман. Л., 1928; Глома: Рассказы. М., 1929; Грань: Роман. М., 1930; На земле: Пьеса. Л.—М., 1931; Похождение корабля: Роман. М., 1931; Америка в Керчи. М.—Л., 1931.



**Екатерина
Алексеевна
БОРОНИНА**

1907—1955

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Боронина Екатерина Алексеевна, 1907 года рождения, уроженка Ленинграда, русская, гражданка СССР, беспартийная, детская писательница, член Ленинградского отделения ССП, проживала: Ленинград, ул. Барочная, д. 4, кв. 14

муж — Хмельницкий Сергей Исаакович

Арестована 30 октября 1950 года Управлением МГБ по Ленинградской области. Обвинялась по ст. 58-10 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда).

Постановлением Особого Совещания при МГБ СССР от 17 февраля 1951 года определено содержание в ИТЛ сроком на 10 лет. Содержалась в ИТЛ (Мордовская АССР, станция Потьма).

Постановлением Центральной Комиссии по пересмотру дел на лиц, осужденных за контрреволюционные преступления, содержащихся в лагерях, колониях и тюрьмах МВД СССР и находящихся в ссылке на поселении от

1 ноября 1954 года. постановление Особого Совещания МГБ СССР от 17 февраля 1951 года в отношении Бороной Е. А. отменено, и дело прекращено за отсутствием в ее действиях состава преступления.

Из материалов дела

Боронина Е. А. в 1924 году поступила на Высшие государственные курсы искусствоведения при Государственном институте истории искусства (обучалась на словесном отделении).

Член ССП с 1934 года. До вступления в ССП состояла членом ЛОКАФ — Литературного объединения писателей Красной Армии и Флота.

В период Отечественной войны работала в области очерка для детей. Участвовала в работе Ленинградского отделения ССП: была членом бюро детской секции, членом Совета литфонда.

В 1926 году постановлением Коллегии ОГПУ высылалась в Среднюю Азию сроком на 3 года.

НЕ ГОД ПРОШЕЛ, А ЦЕЛЫЙ ВЕК...

«В один из зимних дней 1947 года, в выходной мы с мамой находились дома. Я сидела за столом и готовила какое-то задание для института, мама что-то шила, солнце светило в окно, а по радио передавали музыку. Я слегка прислушивалась к передаче, потом музыка кончилась и стали передавать радиоспектакль под названием „Удивительный заклад“. Пьеса эта нам с мамой очень понравилась.

Суть дела в ней в том, что во время гражданской войны в каком-то маленьком городке на Украине, где власть все время переходила из рук в руки, городские мальчишки прятали раненых красноармейцев. Раненым нужны были медикаменты и питание, и ребята шныряли по базару, пытаясь раздобыть что-нибудь для своих подопечных. Денег у них было очень мало. И вдруг на городском ломбарде их внимание привлекло объявление: „Принимаются в заклад хорошие меховые изделия. Плата по соглашению. Сдавайте в ломбард меховые вещи!“.

Мальчишки задумались: что бы такое разыскать среди домашних вещей для сдачи в ломбард, какое меховое изделие? Ничего подходящего не было. Ребята расстроились. И вдруг одному из них пришла в голову шальная идея: сдать в качестве мехового изделия их большого пушистого кота.

Тотчас они отправились в ломбард на переговоры. Оказалось, что старичок, принимавший заклады, сочувствует красноармейцам и, узнав положение дел, решил помочь,— взять в заклад кота и выдать под ломбардную квитанцию на меховое изделие значительную сумму денег. Условием было лишь, что мальчишки будут приносить коту молоко и съестное.

Все получилось удачно. Ребята помогли красноармейцам, потом пришли красные, и кот благополучно вернулся к своим владельцам...

Отзвучала короткая музыкальная концовка и затем выступила детская писательница Екатерина Алексеевна Боронина, автор передачи. Она рассказала, что такой случай действительно имел место.

У нас с мамой тоже был пушистый кот Барсик, который всюду лез, постоянно мяукал и требовал чего-нибудь вкусного. Мы шутя грозили ему, что сдадим в ломбард, что было бы весьма кстати в тот период наших материальных бедствий. Но нет, Барсика в ломбард не сдали, а бедствия случились еще ббльшие. В апреле 1948 года я была арестована...»

Это письмо прислала мне Римма Ильинична Луцик, репрессированная несколько ранее того, как подобное же случилось и с Екатериной Борониной, которую взяли под стражу 30 октября 1950 года.

В следственном делопроизводстве писательницы сказано, что она «обвинялась по ст. 58-10, ч. 2 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда). Постановлением Особого Совещания при МГБ СССР от 17 февраля 1951 года определено содержание в ИТЛ сроком на 10 лет».

Воспоминания Р. Луцик об «Удивительном закладе», о времени, когда появилась повесть под таким названием (Л., 1946), чрезвычайно характерны для тех послевоенных лет. Мальчишки, которым по возрасту не довелось побывать на фронтах Отечественной войны, жили еще романтикой не только недавнего прошлого, но и более далекой — гражданской войны. Книгу Екатерины Борониной постигла счастливая судьба, ребята ею увлекались, многим пушис-

тым котам пришлось в конце 40-х годов сделаться невольными участниками детских игр, в которых были и ломбард, и раненые красноармейцы, и добрый старичок...

Коренная ленинградка, Екатерина Боронина начала, однако, литературную работу в 1927 году в Ташкенте. Фраза из следственного дела «...в 1926 году постановлением Коллегии ОГПУ высылалась в Среднюю Азию сроком на 3 года» дает этому объяснение. Более подробно говорит об этом сама Е. Боронина в автобиографии (1939): «В начале 1926 года я была вовлечена в контрреволюционный анархо-синдикалистский кружок студентов. В июле 1926 года была арестована и административно выслана в Ташкент на 3 года». В анкетах последующих лет это сообщение отсутствует, и можно не сомневаться в том, что грозный термин «контрреволюционности» был навязан теми, кто брал ее под стражу.

Она нашла свое призвание в литературе для маленьких советских граждан. Е. Боронина состояла сотрудником газеты «Читатель и писатель», в 1928—1929 годах создала первые очерки для детей, печаталась в журналах «Чиж», «Еж», «Костер».

Ее известность как автора книг для детей росла. В 1931 году вышел «Звериный доктор», в 1935 — «Рассказы звериного доктора», в 1938 — «Обвал», в следующем году — «Рассказы о смелых».

Когда началась Великая Отечественная война и наступила блокада Ленинграда, Боронина никуда из родного города не уехала, оставалась все в той же своей квартире на Барочной улице в доме № 4. Сколько хватало сил, она выступала в воинских частях и госпиталях, работала над очерками для детей, которые печатались в детских журналах, писала для радио. И в тяжелые блокадные годы, и после войны Боронина оставалась неутомимой общественницей.

И во время войны, и по ее окончании Екатерина Боронина продолжала интересно и продуктивно работать. В 1942 году выходит ее книга «Балтийские снайперы — гроза фашистов», 1945 и 1946 годы отмечены повестями «Светлячок» и «Таинственный подарок». И наконец — повесть «Удивительный заклад». Изданная в 1946 году, она стала не только радиопостановкой, но и пьесой, поставленной в Ленинградском театре юных зрителей и ТЮЗах других городов.

Еще одна пьеса — «Испытание» — была написана совместно с С. Зельцер и также увидела свет на сцене Ленинградского ТЮЗа.

1949 год, когда был напечатан рассказ «Чернильное пятно», стал последним в творческой жизни писательницы. Дальше — длительное, до самого конца жизни, молчание.

Римма Ильинична Луцик во время войны была техническим переводчиком с английского языка, работала в Народном комиссариате нефтяной промышленности, имела постоянные контакты с американскими специалистами, которые консультировали строительство нефтеперегонных заводов в Орске, Куйбышеве, Красноводске и Гурьеве. В апреле 1948 года это обернулось для нее бедой: арестом и осуждением. Несколько лет она пробыла в лагерях Воркуты, получила тяжелое заболевание сердца и, как милость — перевод в более умеренный климат — в Потьму.

«В лагере дружба завязывалась сложно, о своих делах и причинах ареста говорилось только близким друзьям, кому полностью доверяли. Задавать лишние вопросы было не принято, это могло показаться подозрительным», — вспоминает она.

В Мордовии Луцик положили в лагерный стационар. Лечение продолжалось довольно долго, появились новые знакомства. Среди обитателей больницы встретила ее «...пожилая, тяжело больная женщина. Замкнутая, нежелающая входить в контакты, недоверчивая, чем-то глубоко подавленная. Иногда, когда позволяли силы, она прогуливалась вокруг санчасти. Небольшого роста, полноватая, в очках с очень толстыми стеклами. Как я узнала, — ленинградская писательница Екатерина Алексеевна Боронина. Меня это взволновало; живо вспомнился родной город, зимний снежный день, в который я услышала передачу „Удивительный заклад“. Я рассказала ей об этом. Так родилась наша дружба. Между нами была разница в 15 лет. В том, 1952 году, Екатерина Алексеевна выглядела гораздо старше своих 45 лет, но отношения нашим это не мешало.

Мы вспоминали о красотах Ленинграда, вели разговоры о литературе, о любимом нами писателе Кнуте Гамсуне. Постепенно она утрачивала свою замкнутость, оттаивала, хотя для совместных прогулок времени выдавалось немного — я уже выписалась из стационара и работала в швейном цехе, где шили военные бушлаты. Нередко Екатерину Алексеевну мучили сердечные приступы и тогда

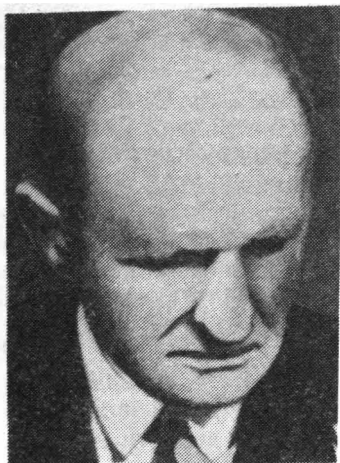
она вынуждена была лежать. Родственников, которые бы с нею поддерживали связь, у нее не было, посылок она не получала.

Знакомство наше длилось около года, потом Бороной стало много хуже и ее отправили в Центральный лазарет».

Е. Бороина получила свободу в ноябре 1954 года, когда постановление Особого Совещания МГБ СССР от 17 февраля 1951 года было отменено, и дело прекращено за отсутствием в ее действиях состава преступления.

Она умерла 29 мая 1955 года. Больное сердце не выдержало.

Захар Дичаров



**Николай
Александрович
БРЫКИН**

1895—1979

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Брыкин Николай Александрович, 1895 года рождения, уроженец д. Даротники Нагорьевского района Ярославской области, русский, гражданин СССР, член ВКП(б) с 1917 года, исключен в связи с арестом, писатель, член ССП, проживал: Ленинград, кан. Грибоедова, дом 9, кв. 15 жена — Брыкина Александра Николаевна, 1901 года рождения

сын — Брыкин Геннадий, 1919 года рождения

сын — Брыкин Юрий, 1922 года рождения

Арестован 23 июня 1949 года Управлением МГБ по Ленинградской области. Обвинялся по ст. 58-10 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда).

Постановлением Особого Совещания при МГБ СССР от 4 февраля 1950 года определено содержание в ИТЛ сроком на 10 лет. Наказание отбывал в г. Караганде.

Постановлением Центральной Комиссии по пересмотру дел на лиц, осужденных за контрреволюционные преступления, содержащихся в лагерях, колониях и тюрьмах

МВД СССР и находящихся в ссылке на поселениях от 30 августа 1954 года постановление Особого Совещания при МГБ СССР от 4 февраля 1950 года в отношении Брыкина Н. А. отменено, дело прекращено.

Брыкин Н. А. по данному делу реабилитирован.

ИЗЛОМЫ ОДНОЙ СУДЬБЫ

Высокий, с крестьянским лицом, сутулит худые плечи, в разговоре часто щурит глаза, — таким я его помню. Родившийся в приволжской деревеньке, он всю жизнь отдает ей дань тем, что в разговоре неизменно окает, крупные длиннопалые руки выдают в нем крестьянского сына.

В юности попалась мне книжка «Мучные короли». На светло-синей обложке — незнакомое имя: «Н. Брыкин». Это были очерки, небольшие рассказы о сельской глубинке, которую уже разворошила коллективизация, о тех, кого считали кулаками и подкулачниками, «мучными королями», державшими в покорности бедняка, а то и середняка, о сложном деревенском быте. Читал и думал: все это правда, я сам ее видел, только вот надо бы написать о ней похлеще, покруче...

Мне шел девятнадцатый год, я ходил в активистах «Общества смычки города с деревней», и поэтому летом 1930 года, того самого, когда изданы были «Мучные короли», сам того не предполагая, попал в гущу событий, которые запомнились на всю жизнь.

Из Ленинграда в Новгородский округ (так тогда называлась нынешняя Новгородчина, входившая в состав Ленинградской области вместе с Псковским и Мурманским округами) направлялся «Агитвагон». Начальником его назначили преподавателя Военно-воздушной академии Мицкевича, назвав его «комиссаром», а меня — помощником. Я отвечал за техническую сторону — электроосвещение, работу киноустановки, состояние выставки «Стройки первой пятилетки». Но значился также и агитатором. Были с нами еще врач и проводница Дарья Болбот.

Вагон везли от станции к станции, ставили в тупик, отцепляли, и вся наша тройка, кроме пожилой Дарьи Васильевны Болбот, уходила в ближние деревни — агитировать, организовывать, лечить. Ту классовую борьбу я узнал не понаслышке: еще в 1928 году полоснули меня ножом в Череповецком районе, куда я приезжал «казать

кино». На этот раз на моих глазах кулацкие сынки убили председателя только что созданного колхоза.

Книга Николая Брыкина «Мучные короли» была как бы частью и моей собственной жизни. Потому и запомнилась.

И вот теперь, когда жизнь уже почти прожита, читаю об этом писателе официальную бумагу и вспоминаю свои немногие встречи с ним. В бумаге коротко и сухо: «Брыкин Николай Александрович, 1895 года рождения, уроженец д. Даротники Нагорьевского района Ярославской области, русский, гражданин СССР, член ВКП(б) с 1917 года, исключен в связи с арестом, писатель, член ССП, проживал: Ленинград, кан. Грибоедова, дом 9, кв. 15. Жена... сын Геннадий... сын Юрий...

Арестован... Управлением МГБ по Ленинградской области. Обвинялся...»

Страшные и безжалостные «девятьсот тридцать седьмые» были уже позади. И война, окончившаяся победой, тоже минула, но, как видно, «Ведомство» не дремало, — нашлись на товарища Брыкина «доказательства», обвинили его по знаменитой 58-й с пунктом «10» — «антисоветская агитация и пропаганда», определили постановлением Особого Совещания при МГБ СССР от 4 февраля 1950 года содержание в ИТЛ сроком на 10 лет, и поехал он в далекую Караганду.

Он прожил немало — 84 года, но потому, может быть, и достиг таких преклонных лет, что менее чем через четыре года после суда окончилась жизнь Сталина, и уже другим постановлением — от 30 августа 1954 года — Центральная Комиссия по пересмотру дел на лиц, осужденных за контрреволюционные преступления... дала Николаю Брыкину свободу...

А в том самом 37-м, когда только еще начался отсчет тюремного времени для меня, Брыкин был назначен директором Ленинградского отделения издательства «Советский писатель». Каждый, кто, выражаясь высоким штилем, был сочинителем, знал, насколько его творческая, а значит и жизненная судьба, зависит от решений, принимаемых издателем: то ли он даст «добро» — и книга выйдет в свет, то ли нет, и труд, отнявший годы стараний, останется мертвым грузом в ящике письменного стола.

Каким был Н. Брыкин для ленинградских писателей, сказать непросто: не у кого уже спросить, но по разным воспоминаниям он отличался, говорят, справедливостью и отвращался от всякой групповщины.

В годы Отечественной войны он не отсиживался в директорском кресле — ушел добровольцем в армию, участвовал в боях, был политработником гвардейского корпуса, награжден несколькими орденами и медалями. Как только демобилизовался — вернулся на прежнее место директора ЛО «Советский писатель» и проработал им 1946 и 1947 годы.

1948 год оказался неудачным — с этой работы его сняли.

Сейчас уже не дознаться, вследствие чего это произошло. Война хотя и окончилась, но недолго длилась в стране пауза, в течение которой не мчалась бы по ночным улицам города «Черная Маруся», забирая из спящих квартир «кого надо». Николай Брыкин попал в такую полосу, когда его не только лишили работы, но и возможности печататься. И вот тогда-то мы встретились в Доме писателя имени В. В. Маяковского.

В тот год я, получивший после первого, почти 9-летнего заключения право проживать только на 101-м километре, устроился рядовым литсотрудником в Волховскую районную газету «Сталинская правда». В Ленинграде бывал редко, только на занятиях литературной группы при Союзе писателей и однажды разговорился с пришедшим туда случайно Брыкиным.

Он производил жалкое впечатление: сникший, опустившийся, на осунувшемся лице выпирали скулы. Сказал скупо:

— Плохо вижу. Совсем плохо.

Узнав о том, что я работаю в редакции районной газеты, оживился, спросил уныло, но с ноткой надежды:

— А нельзя ли у вас там что-нибудь тиснуть?

Я ответил, что, наверное, можно, все-таки ленинградский писатель с именем, у которого в активе столько книг, повести, романы, киносценарии. Мне, как представителю редакции, это даже польстило. Он обрадовался и полез в портфель:

— Вот тут у меня есть... Сейчас, сейчас... Вот, главу можно из повести. Небольшую вставку, а остальное все понятно. Возьмете?

Эту его рукопись я привез в Волхов, и мы ее напечатали, отведя целую полосу. Послали автору два экземпляра. Через две недели полагалось выслать почтой гонорар, но Брыкин, спустя дня три-четыре приехал в Волхов сам и по тому, как умоляюще просил выдать ему деньги до срока, было понятно, как трудно ему живется. Сумма была весь-

ма скромная, но, видимо, и она была необходима. Это понял и редактор, тезка героя повести «Как закалялась сталь» — тоже Павел и тоже Корчагин. Николаю Александровичу в виде исключения выписали деньги по повышенной ставке.

Моя работа в редакции закончилась 16 декабря 1948 года, — второй арест и опять тюрьма, и этапы, и дальний путь в Сибирь, в ссылку. А Брыкин еще полгода ходил на воле: его арестовали позже — 23 июня 1949 года.

Когда теперь я вчитываюсь в его биографию, хочется сказать, что это хорошая биография; ее герой вышел из самых низов народа, окончил церковно-приходскую школу, в 1908—1915 годах служил на побегушках в трактирах и ресторанах Москвы. Весной 1916 года был призван в армию. Февральскую революцию встретил на Рижском фронте. В мае 1917 года, когда для каждого русского солдата решался вопрос, с кем быть, куда идти, вступил в партию большевиков. Не обошла его стороной и гражданская война. Брыкин — командир полка Красной гвардии, комиссар сводных красноармейских частей. Расставшись с армией, он осел в Великих Луках и ушел в журналистику. Он не только писал, но и редактировал газету «Наш путь» (1922 год). Три года (1923—1925) проучился в Ленинградском коммунистическом вузе. Из Ленинграда уже не уехал, был принят в газету «Ленинградская правда», на страницах которой все чаще появлялись его очерки и фельетоны. От публицистики перешел к художественной литературе. Одна за другой появляются его книги: «В новой деревне. Очерки деревенского быта», «Люди низин», повести «Большие дни» и «Земля зовет». В 1929 году читатель получает его роман «Земля в плену».

Молодой журналист становится профессиональным литератором, принимает деятельное участие в работе писательской организации, является автором киносценариев (фильмы «Секрет фирмы» и «Разгром Юденича»). Литературное наследство Николая Брыкина достаточно обширно. Вплоть до 1940 года он почти каждый год выпускал по книге (Оборона Петрограда: Киноповесть. Л., 1939; Комиссар: Повесть. Л., 1939; Малиновые юнкера: Повесть. Л., 1940). Но затем наступает долгий перерыв. Сначала причиной явилась война, затем — репрессии. Новая книга — роман «Искушение» — вышла через семнадцать лет (в 1957 году). За этим романом последовали еще книги — переизда-

ния прежних, и наконец, роман «На Восточном фронте перемены». Л., 1975 и 1977.

Фортуна вновь повернулась к Николаю Брыкину лицом, к нему возвратилась удача и, вероятно, он уже не вспоминал о пережитом в лагере. Но история есть история. Многие хранят в себе архивные документы. И хотя древние римляне говорили: «О мертвых либо хорошо, либо ничего», — невозможно не сказать о том, что стало известно ныне.

В 1938 году была арестована писательница Надежда Савельевна Войтинская. Больше года продержали ее в тюрьме под следствием, затем — случай редкий — освободили за «недостаточностью улик для предания обвиняемой суду» (из архивов КГБ). В следственном деле Войтинской хранится клеветническое письмо о ней председателя Ленинградского горкома писателей И. Никитина. И еще одно письмо, его же, в котором он оправдывает свой поступок тем, что был ложно информирован писателями Николаем Брыкиным и Иваном Неручевым.

В русском народе в подобных случаях говорят: «Бог ему судья...» Кто знает, что двигало этими людьми: корысть, эгоизм, страх или глубокое убеждение, что они действуют по-сталински, по-партийному?..

Теперь все это уже прошлое.

Захар Дичаров



**Раиса
Родионовна
ВАСИЛЬЕВА**

1902—1938

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
21 декабря 1990 года
№ 10/14—7379
Ленинград

Лукина (Васильева) Раиса Родионовна, 1902 года рождения, уроженка Ленинграда, член ВКП(б) с 1919 года, исключена из партии за оппозиционную деятельность, с низшим образованием, замужняя, не судимая, до ареста рабочая завода «Красный треугольник» в Ленинграде, проживала: Ленинград, ул. Звенигородская, д. 10, кв. 4.

Арестована 20 октября 1928 года, Постановлением Особого Совещания при Коллегии ОГПУ от 27 декабря 1928 года приговорена по ст. 58-10 УК РСФСР к высылке в Среднюю Азию сроком на 3 года.

Постановлением Особого Совещания при Коллегии ОГПУ от 24 мая 1929 года постановление Особого Совещания ОГПУ от 27 декабря 1928 года отменено, и ей разрешено свободное проживание по СССР.

Вторично арестована 26 декабря 1934 года, постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 16 января 1935 года Васильева Р. Р. по ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР приговорена к 5 годам лишения свободы.

Определением Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 23 августа 1957 года постановление Особого Совещания от 16 января 1935 года отменено, и дело в отношении Васильевой Р. Р. производством прекращено за отсутствием состава преступления.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Васильева Раиса Родионовна (30.VIII.1902, Петербург — 1938), прозаик. С детства начала трудиться — была девочкой на побегушках, ходила стирать белье, работала на табачной фабрике «Лаферм», на заводе «Новый Парвайнен». Училась в воскресной школе. В 15 лет приняла активное участие в революции, одна из первых комсомолок. После революции была на комсомольской работе, училась на рабфаке, в Технологическом институте. Была в числе писателей, близких к С. Маршаку. В 1935 году по ее сценарию на «Ленфильме» был снят фильм «Подруги» (режиссер и соавтор Л. Арнштам). Фрагменты их сценария опубликованы под названием «Фабрично-заводские» в газете «Кино» (1934). Автобиографическая повесть для детей «Фабрично-заводские» осталась незаконченной.

Первые комсомолки. М.—Л., 1932, 1978; Фабрично-заводские (главы из незаконченной автобиографической повести). Л., 1971.

ЮНОСТЬ ЕЕ КОМСОМОЛА

Первой книгой, которую написала Раиса Васильева, были воспоминания о ее комсомольской юности и о юности комсомола. Книга так и называлась «Первые комсомолки».

Когда Васильева писала свои воспоминания, ей не было и тридцати лет. Мало осталось людей, которые помнят появление ее книги. Было это в 1932 году.

Конечно, когда человеку еще только под тридцать, писать мемуары как будто и рано. Но так уж сложилась биография Раи Васильевой, что все, происходившее в ее жизни, не укладывалось в обычные рамки.

Сначала она работала, а потом училась. Работала с самого детства. Совсем маленькой девочкой ходила с баб-

кой стирать у лавочницы, потом поступила на галошную фабрику «Треугольник» — была на побегушках у мастериц; была «мазилкой» на табачной фабрике «Лаферм» — смазывала клеем этикетки; на завод «Новый Парвийнен» нанялась «девочкой», подсобницей, опять была на побегушках. А училась она по праздникам, в воскресной школе.

Р. Васильева сначала участвовала в революции, а потом уже стала разбираться в смысле и значении революционных событий. Недаром она пишет в своих воспоминаниях: «По событиям дня мы проходили всю историю классовой борьбы». И тут же, не жалея себя, рассказывает, как часто она и ее подруги попадали впросак — то потому, что незнакомое слово «бойкот» казалось им оскорблением их революционной сознательности, то потому, что голосованием хотели отменить Бога и религию.

Сначала она — еще почти девочка — пошла на фронт защищать молодую Советскую республику, потом — уже взрослым человеком — стала студенткой Технологического института.

Это само время так перестраивало жизнь, вторгалось в ее порядок, опрокидывало привычный уклад.

Рукопись «Первых комсомолок» Васильева принесла в издательство «Молодая гвардия». Ленинградское отделение этого издательства находилось тогда под одной крышей с детским отделом Ленигиза, в Доме книги. Редакции «Молодой гвардии» и детского отдела были и на одном этаже, в соседних комнатах. Может быть, эта счастливая случайность и привела к встрече Раи Васильевой с Маршаком и с детской литературой.

В детской литературе это было время непрерывных поисков и открытий, время, когда — по меткому и точному определению Маршака — создавалась большая литература для маленьких. И навстречу тем огромным задачам, которые искусство ставило перед детскими писателями, шли люди, которые искали возможности выразить в искусстве свой жизненный опыт.

Самуил Яковлевич Маршак, возглавлявший в ту пору редакцию детского отдела ГИЗа (а впоследствии — редакцию Детского издательства), сразу понял силу и самобытность таланта Васильевой, сразу поверил в нее.

«Первые комсомолки» написаны горячим сердцем, памятью, их писала сама жизнь, сами события. «Фабрично-заводские» написаны и сердцем, и памятью, и жизнью, но, кроме того, еще и словом. Тем словом, которое не

только закрепляет память, но и само пробуждает ее, которое не только повторяет событие, но заново воскрешает его, волнением отзываясь в сердце читателя.

«Первые комсомолки» написаны талантливым человеком. «Фабрично-заводские» написаны талантливым человеком, ставшим талантливым писателем.

Мне хочется привести небольшой пример, на котором отчетливо, почти наглядно, можно проследить то новое, что появилось в работе Васильевой над повестью «Фабрично-заводские» и что называется литературным мастерством.

В «Первых комсомолках» в главе «Февральские дни» Васильева рассказывает, как конная полиция разгоняет на Невском рабочую демонстрацию.

В повести «Фабрично-заводские» в главе «Быть беде» она рассказывает, как направляются к заводу казаки, чтобы разогнать забастовавших рабочих.

Близкие, похожие эпизоды, почти одинаковый конфликт — по одну сторону возмущившийся рабочий народ, по другую сторону — полиция, казаки, разговаривающие языком нагаек.

Вот как рассказано об этом в «Первых комсомолках»: «По Невскому во весь опор неслись конные. Они врзались в самую гущу толпы... По спинам и головам заходили нагайки. Мы шарахнулись в сторону, к Инженерной улице. Там нас встретила новая цепь конных полицейских. И опять нагайки». Все названо, все обозначено словами, но, в сущности, читатель получил только сухую информацию, не более того.

А вот как рассказывает Васильева о появлении казаков в повести «Фабрично-заводские»: «...гляжу — по Таракановскому мосту казаки рядами скачут. Все разом на седлах подпрыгивают. Он высокий, Таракановский мост, — казаков хорошо видно. Фуражки у них набок заломлены, а под фуражками вьются, свистят змейки. Это казаки нагайками в воздухе играют. Весело едут!»

Казаки еще не подъехали к толпе, их нагайки еще не прошлись ни по чьим спинам и головам, а какая тревога во всем, какая неотвратимость жестокой расправы в этих вьющихся змейках, в этой игре нагайками, в этой веселой езде!

Повесть «Фабрично-заводские» Васильева писала легко, щедро, смело. Она впервые ощутила, какие огромные силы заключены в слове и как существенно то «чувство

соразмерности и сообразности» слов, которое Пушкин считал проявлением истинного вкуса.

Она стала слышать самый звук слова и понимать, как много красок заключено в этом звуке.

Есть еще одна не менее важная черта, которая неразрывно связывает личность Васильевой и ее творчество.

У нее был огромный запас жизненных сил и того внутреннего достоинства, при котором никакие трудности, лишения, никакие удары судьбы не могли сломить ее или согнуть. Самую бедность своего детства она описывает с таким бесстрашием, непримиримостью, с таким юмором, которые и делают человека сильнее всех внешних обстоятельств.

Эта черта ее личности видна не только в содержании написанных глав, не только в отборе материала и в его направленности. Она выражена в самом стиле повествования.

Представить себе Раю Васильеву смирившейся перед простой невзгодой или перед настоящей бедой невозможно.

«Не хныкать!» — это стало девизом ее жизни. Она всегда носила это в своей душе. И никогда, что бы ни случилось, в обстоятельствах самых трудных, жестоких и несправедливых, не изменила она этому завету. И никогда, ни перед каким испытанием, не склонила головы и не перестала быть сама собой.

Александра Любарская



**Александр
Иванович
ВВЕДЕНСКИЙ**

1904—1941

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
21 декабря 1990 года
№ 10/14—7379
Ленинград

Введенский Александр Иванович, 1904 года рождения, уроженец Ленинграда, русский, гражданин СССР, беспартийный, литератор, до ареста проживал в Ленинграде, Съезжинская ул., д. 37, кв. 14.

Арестован 10 декабря 1931 года. Обвинялся в преступлении, предусмотренном ст. 58-10 УК РСФСР. Постановлением выездной сессии Коллегии ОГПУ от 21 марта 1932 года из-под стражи освобожден и лишен права проживать в 16 пунктах СССР и погранокругах сроком на 3 года.

Постановлением Президиума Ленинградского городского суда от 18 января 1989 года постановление Коллегии ОГПУ от 21 марта 1932 года в отношении Введенского А. И. отменено, и дело о нем производством прекращено за отсутствием состава преступления.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Введенский Александр Иванович (19.01.1904, Петербург — 1941), поэт, детский писатель. Учился на филологическом факультете Ленинградского университета. К детской литературе привлек его С. Маршак. Первые произведения для детей опубликовал в 1928 году. Постоянно печатался в журналах «Чиж» и «Еж». Перевел сказки братьев Grimm. Автор пьесы «Елка у Ивановых». В 1936 году переехал в Харьков. Последнюю книжку написал в начале Великой Отечественной войны. По некоторым сведениям умер при эвакуации из Харькова. В 70-е годы его произведения неоднократно переиздавались.

Мяу. М.—Л., 1928; Много зверей. М., 1928; Авдей-ротозей: Рассказ. М., 1929; Железная дорога. М., 1929; Летняя книжка. М., 1929; На реке. М.—Л., 1929.— Совместно с художником Е. Эвенбах; Путешествие в Крым. М., 1929; Зима — кругом. М., 1930 и др. изд.; Бегать. Прыгать: Рассказы. М., 1930 и 1931; В дорогу. М.—Л., 1930; Ветер. М.—Л., 1930; Коля Кочин. М., 1930; Октябрь. М.—Л., 1930 и 1931; Рабочий праздник. М., 1930; Рыбаки. М.—Л., 1930 и 1931.— Совместно с художником В. Ермолаевой; Мед. М.—Л., 1930.— Совместно с художником Е. Эвенбах; Кто? М., 1930 и др. изд.; Конная Буденного. М., 1931; Письмо Густава Мейера. М.—Л., 1931; Подвиг пионера Мочина. М., 1931; Путешествие в Батум. М., 1931; П. В. О. К обороне будь готов! Л.—М., 1931; Володя Ермаков. М., 1935 и 1959; Лето и зима. Л., 1935 и 1936; Катина кукла. М.—Л., 1936; О девочке Маше, о собаке Петушке и кошке Ниточке. М.—Л., 1937 и 1956; Щенок и котенок. М.—Л., 1937 и др. изд.; Самый счастливый день. Одесса, 1939; М.—Л., 1940; Люсина книжка. М., 1940; Наташа и пуговка. Киев, 1940; Лето (рассказы и стихи). М.—Л., 1941; А ты? М.—Л., 1941 и др. изд.; Когда я вырасту большой. М., 1960; Дождик, дождик! М., 1962 и др. изд.; Сны: Стихи. М., 1965; О рыбаке и судаке. Л., 1975; Река: Книжка-раскраска. Л., 1977 и 1979.

ЧИНАРЬ АЛЕКСАНДР ВВЕДЕНСКИЙ

«...Я понял, чем отличаюсь от прошлых писателей, да и вообще людей. Те говорили: жизнь — мгновение в сравнении с вечностью. Я говорю: она вообще мгновение, даже

в сравнении с мгновением». Так воспринимал мир поэт Александр Введенский. Удалось ли ему воплотить такое видение в своих произведениях? Судить об этом можно только по сохранившимся рукописям, а их не так уж много.

Александр Иванович Введенский родился на Петербургской стороне 23 ноября (6 декабря) 1904 года. Учился в гимназии им. Л. Лентовской (на углу Бармалеевой и Большого проспекта), имевшей сильный состав преподавателей; некоторым из них по политическим соображениям было запрещено преподавание в императорских гимназиях. Директором гимназии был В. К. Иванов, хорошо знакомый с творчеством Салтыкова-Щедрина, иногда заменявший учителя словесности в их классе. Классным же наставником и преподавателем истории был А. Ю. Якубовский, будущий академик. Но особое влияние на Введенского имел Леонид Владимирович Георг, большой знаток поэзии, лично знакомый с А. Блоком, всемерно поощрявший в учениках любые литературные занятия. Большой популярностью у учеников пользовался кружок «Костер» — детище Георга, в котором знакомились с новой литературой — читали Блока, Ахматову, Гумилева. Введенский был активным участником этого кружка.

Осенью 1919 года бывшую гимназию, названную 10-й единой трудовой школой, перевели на ул. Плуталова, 24.

После окончания школы в 1921 году Введенский вначале поступил на юридический факультет Университета, но вскоре перешел на китайское отделение восточного факультета. Однако литературные интересы пересилили, и он прекратил посещение лекций. Теперь его можно было встретить у Н. Клюева или М. Кузмина.

Вероятно, Введенского интересовали все современные виды искусства, потому что в то же время он частый гость в Институте художественной литературы, которым руководил К. Малевич и где преподавал В. Татлин. Чуть позже он знакомится со школой левого искусства — П. Филоновым и его учениками. Происходит встреча с Д. Хармсом. Введенский и Хармс декларируют поэтическую платформу «двоих».

Эта встреча определила многое в жизни обоих поэтов. С этого времени их судьбы развивались по одной неровной линии. Хармс стал называться «чинарь-взиральщик», а его друг — «чинарь Авторитет бессмыслицы александрвве-

денский». Именно так: с маленькой буквы и вместе он подписывает теперь свои опусы.

Оба вступили в Союз поэтов, оба напечатали по стихотворению в сборниках Союза — «Собрание стихотворений» и «Костер» (Л., 1926, 1927). Вскоре к чинарям присоединились Н. Заболоцкий, Д. Левин, И. Бахтерев, К. Вагинов. Их группу пригласил стать одной из творческих секций Дома печати его директор А. Баскаков. Они назвались ОБЭРИУ, выпустили «Манифест», в котором Введенский характеризуется следующим образом: «А. Введенский (крайне левое нашего объединения) разбрасывает предметы на части, но от этого предмет не теряет своей конкретности. Введенский разбрасывает действие на куски, но действие не теряет своей творческой закономерности. Если расшифровать до конца, то получается в результате — видимость бессмыслицы. Почему — видимость? Потому что очевидной бессмыслицей будет заумное слово, а его в творчестве Введенского нет, нужно быть побольше любопытным и не полениться рассмотреть столкновение словесных смыслов. Поэзия не манная каша, которую глотают, не жуя и о которой тотчас забывают» (разрядка авторов). А. Македонов, знаток творчества Н. Заболоцкого, дает несколько иную характеристику Введенскому: «...Опыты Введенского были одной из многих попыток создать литературу „подсознания“ (или „сверхсознания“), вроде экспериментов сюрреалистов. На русской почве, в условиях советской действительности, они были менее мрачными, и, кроме того, в отличие от сюрреалистов, обереуты стремились к созданию своеобразных алогических и надлогических систем, с элементами к тому же пародийной игры» (разрядка автора).

Начались публичные выступления группы. О самом знаменитом под названием «Три левых часа» «Красная газета» сообщала: «Непонятно? Еще бы! Для того и делается... Вчера в „Доме печати“ происходило нечто непечатное, насколько развязны были обереуты («Объединение реального искусства»), настолько фривольна была и публика. Свист, шиканье, выкрики, вольный обмен мнениями с выступающими... Не в том суть, что у Заболоцкого есть хорошие стихи, очень понятные и весьма ямбического происхождения, не в том дело, что у Введенского их нет, а жуткая заумь его отзывает белибердой, что „Елизавета Бам“ — откровенный до цинизма сумбур, в котором „никто ни черта не понял“, по общему выражению диспу-

тантов. Главный вопрос, который стихийно вырвался из зала: „К чему? Зачем? Кому нужен этот балаган?“»¹

Таково было официальное восприятие их искусства. А вот впечатления начинающего художника Бориса Семенова, впервые увидевшего обереутов, в том числе и Введенского, и запомнившего этот вечер.

«У Введенского был рокошущий голос. Читал он очень торжественно, на одной ноте. Его чтение увлекало не то, чтобы значительностью содержания, а скорее невероятным сплавом лирического и заумного. Прекрасные женщины летали по воздуху, свистели зеленые бобы, а певчие птицы преображались в чоботы...»²

Трудно, говоря о Введенском, не включать в повествование Хармса, и — наоборот. Все пишущие об одном или о другом непременно сравнивают их поэтические манеры, находят сходства и различия и обязательно говорят об отличии их внешнего вида, манер, образа жизни. Они — нераздельны. «Хармс эксцентричен с головы до пят. Он сам в оригинальном своем обличье — человек-спектакль,— продолжает свои воспоминания Б. Семенов.— Введенский же ничем не выделялся, хотел быть, как все. Один и тот же серый костюм, кепка с пуговкой, ленивая походочка — никаких тростей, крахмальных воротничков. Единственная любимая вещица — серебряный мундштук с кавказской чернью... Хармс не понимал смысла карточной и другой азартной игры. Он просто терпеть не мог картежников. Введенский был по-гусарски азартен — вот я уже другой раз повторяю словечко, подходящее к облику Александра Ивановича, не зря. Действительно, было что-то гусарское в его цыганских глазах, да и в пристрастии к рискованным спорам „на пари“. Деньги не задерживались в его руках, они просто испарялись из его потертого бумажника. Впрочем, как раз в этом они с Хармсом были похожи. Что же касается общих вкусов в литературе, в искусстве, то здесь очень определенные оценки и мнения всегда у них совпадали точно, в чем я убеждался с некоторым даже удивлением»³.

На другое их выступление пришли редакторы детского отдела ГИЗа Евгений Шварц и Николай Олейников. Было это, как свидетельствуют бывшие обереуты И. Бахтерев и

¹ *Лесная Л.* Ытуиребо.— Красная газета, 25 января 1928 г.

² *Семенов Б.* Время моих друзей. Л., 1982, с. 279.

³ Там же.

А. Разумовский, весной 1927 года на вечере в Кружке друзей камерной музыки. Их приход не был праздным. Они пригласили выступавших поработать для детей. Предложение приняли, ибо других заработков не было. «Какой прок, казалось бы, можно извлечь для детской литературы, требующей содержательности и ясности, из заумного творчества?» — задает вопрос Лидия Чуковская, в ту пору ближайшая сподвижница Маршака, и отвечает словами своего «шефа»: «Но мне казалось, эти люди могут внести причуду в детскую поэзию, ту причуду в считалках, в повторах и припевах, которой так богат детский фольклор во всем мире...» За их молодым задорным экспериментаторством он сумел разглядеть и талантливость и большую чуткость к слову. В их „заумничанье“ он разглядел нечто весьма для детской литературы ценное — тягу к словесной игре»¹.

Л. Чуковская говорит, что для одного из первых своих произведений для детей — «Кто?», ставшим уже классикой, Введенский выполнил «не менее двадцати вариантов».

...Или толстый, как сундук,
Приходил сюда индюк,
Три тарелки, два котла
Сбросил на пол со стола
И в кастрюлю с молоком
Кинул клещи с молотком...

Это только начало повествования. Дальше дядя Боря обнаруживает погром и в своем кабинете: «банку, полную чернил, кто-то на пол уронил», а на ее место положил «деревянный пистолет»; со стен «все картинки сняты», а на гвоздиках висят «дудочка и складная удочка». Но

Убегает серый кот,
Пистолета не берет,
Удирает черный пес,
Отворачивает нос,
Не приходят курицы,
Бегают по улице.
Важный, толстый, как сундук,
Только фыркает индюк,
Не желает удочки,
Не желает дудочки.

¹ Чуковская Л. В лаборатории редактора. М., 1963, с. 268.

А является один
Восьмилетний гражданин,
Восьмилетний гражданин —
Мальчик Петя Бородин.
Напечатайте в журнале,
Что
Наконец-то все узнали
Кто...

В этой же игровой манере написаны им «Зима кругом» (1930), «Лошадка» (1929), «Коля Кочин» (1929), «Умный Петя» (1932), «Где ты живешь?» (1933), «Володя Ермолаев» (1934), «Песенка машиниста» (1940) и др.

«Писал А. Введенский для старших ребят революционные частушки и призывы, близкие к частушкам и лозунгам „Окон РОСТА“, писал и веселые дразнилки для маленьких. Но основой его творчества была лирика. А. Введенский — рожденный, природный лирик... умел радостными словами говорить с детьми о звездах и птицах, о просторе наших лесов, полей, морей, небес. Чистый и удивительно легкий стих А. Введенского вводит ребенка не только в мир родной природы, но и в мир русского классического стиха — словно в подготовительный класс перед веснами, звездами, ритмами Тютчева, Баратынского, Пушкина»¹.

Вот, например, его стихотворение «Когда я вырасту большой»:

Когда я вырасту большой,
Я наряжу челнок,
Возьму с собой бутылку с водой
И сухарей мешок.
Потом от пристани веслом
Я ловко оттолкнусь,
Плыви, челнок! Прощай, мой дом!
Не скоро я вернусь.
Сначала лес увижу я,
А там, за лесом тем,
Пойдут места, которых я
И не видал совсем.
Деревни, рощи, города,

¹ Чуковская Л. В лаборатории редактора. М., 1963, с. 272, 274—275.

Цветущие сады,
Взбегающие поезда
На крепкие мосты.
И люди станут мне кричать:
«Счастливым путь, моряк!»
И ночь мне будет освещать
Мигающий маяк.

Но было и обратное влияние, т. е. влияние обереутов на весь отряд ленинградских детских писателей. «Появление Хармса (и Введенского), — констатирует Евгений Шварц, — многое изменило в детской литературе тех дней. Повлияло и на Маршака. Очистился от литературной, традиционной техники поэтический язык. Некоторые перемены наметились и в прозе. Во всяком случае, нарочитая непринужденность как бы устной, как бы личной интонации, сказ перестал считаться единственным видом прозы»¹.

Однако над головами обереутов сгушались тучи. После очередного вечера, устроенного в студенческом общежитии ЛГУ, в «Смене» появилась разгромная статья, в которой от имени «пролетарского студенчества» содержался печатный донос на поэтов, достаточно характерный для того времени: «Начался диспут... С негодованием отмечалось, что в период напряженнейших усилий пролетариата на фронте социалистического строительства, в период решающих классовых боев обереуты стоят вне общественной жизни, вне социальной действительности Советского Союза... Обереуты далеки от строительства. Они ненавидят борьбу, которую ведет пролетариат. Их уход от жизни, их бессмысленная поэзия, их заумное жонглерство — это протест против диктатуры пролетариата. Поэзия их поэтому контрреволюционна. Это поэзия чуждых нам людей, поэзия классового врага... — так заявило пролетарское студенчество»².

В канун нового, 1932 года Введенский был снят с поезда, которым ехал в Москву, и арестован. И хотя ему предъявлялись обвинения в контрреволюционной деятельности, дело шло по «литературному отделу» ГПУ и инкриминировало «отвлечение читателей своими заумными стихами» от задач строительства социализма.

¹ Шварц Е. Живу беспокойно... Л., 1990, с. 244—245.

² Нильвич. А. Реакционное жонглерство (об одной вылазке литературных хулиганов). — «Смена», 9 апреля 1930 г.

Но 18 июня Введенского освободили из Дома предварительного заключения с предписанием отправиться в ссылку в Курск. Позже он переедет в Вологду.

А в Ленинграде продолжают печататься его стихи, вполне «революционные» — «Кто был Ленин», «Октябрята-ленинцы» («Октябрята», № 5), «На посту» («Маленькие ударники», № 5), «По ленинским местам» («Юные ударники», № 5/19); отдельной книжкой выходит «П. В. О. К Обороне будь готов!» с рисунками Татьяны Глебовой. И только «Умный Петя» («Чиж», № 11—12) продолжал игровую тему в «детском» творчестве поэта.

1933 год Введенский вновь встречает в Ленинграде. Наступает наиболее плодотворный период в его жизни. Масса его стихов и рассказов публикуется на страницах всех ленинградских детских журналов.

В 1936 году, приехав по литературным делам в Харьков, Введенский познакомился с Галиной Викторовой, которая вскоре стала его женой.

Но все литературные связи оставались в Ленинграде, а после разгрома редакции, руководимой С. Я. Маршаком, и переезда его в Москву, — в столице. Сюда посылались рукописи, иногда удавалось и самому приехать. В Харькове написано самое большое из сохранившихся произведений Александра Введенского — пьеса «Елка у Ивановых» (1938).

Пересказывать «взрослые» вещи его невозможно, ибо внешним сюжетом они не обладают. Его стихотворения чересчур велики для этого повествования, цитировать же куски из них бессмысленно — они ничего не прояснят читателю. Его произведения нужно читать целиком. Их или не понимаешь, или интуитивно вдруг постигаешь их внутренний смысл.

Только в последние предвоенные годы у Введенского вышло два сборника «избранного» детского. В первый — «Стихи» (1940) — вошло, правда, всего девять стихотворений, зато во второй — «Лето» (1941) — двадцать четыре лучших, пожалуй, стихов и рассказов последних лет. Завершается сборник «Последними стихами». Рассказывали они об отъезде ребят осенью из деревни, о мечте вернуться сюда весной. Но жизнь резко переломила эти планы — и поэта, и ребят, для которых он писал, а заголовок для Введенского стал пророческим.

О гибели Александра Введенского существует несколько версий. По одной из них, когда в сентябре 1941 года

немцы стали приближаться к Харькову, их семья должна была эвакуироваться в тыл. Был подан состав, погружены вещи, устроились женщины и дети. А поезд все не трогался. Было сказано, что они поедут только на следующий день. Александр Иванович решил ненадолго отлучиться. Когда он вернулся, его арестовали. Основанием послужило то, что будто бы он хотел остаться под немцами. Эшелон с арестантами долго шел на восток. Где-то в степи Введенский умер от дизентерии.

В 1970 году, будучи в Харькове, я разыскал Галину Борисовну. Это ее версию я изложил. Она показала мне два документа, разрешила снять копии. В одном говорилось, что «уголовное дело по обвинению Введенского Александра Ивановича, 1904 года рождения, на день ареста 27 сентября 1941 года проживающего в г. Харькове, постановлением Управления КГБ при СМ УССР по Харьковской области от 30 марта 1964 года прекращено по п. 2 ст. 6 УПК УССР, т. е. за отсутствием состава преступления», а в другом — «Свидетельстве о смерти» — сообщалось, что «Введенский... умер 20 декабря 1941 года... о чем в книге записей актов гражданского состояния о смерти за 1964 год месяца мая числа 04 произведена соответствующая запись...» Вместо «причина смерти» и «место смерти» — прочерки. «Дача выдачи 04 мая 1964 г.», т. е. запись о смерти в «Книгу» произведена в день выдачи «Свидетельства», а дата смерти писателя, указанная в ней, вряд ли верна.

Евгений Биневиц



**Георгий
Давыдович
ВЕНУС**

1898—1939

Из книги «Писатели Ленинграда»

Венус Георгий Давыдович (31.XII.1898, Петербург — 8.VI.1939), прозаик. Родился в семье рабочего — потомка литейщиков-немцев, приглашенных в Россию Петром I. Окончил военное училище, был офицером. Участник первой мировой войны. В годы гражданской войны оказался в стане белых. Был в эмиграции в Константинополе, в Берлине. В середине 20-х годов вернулся в СССР и стал профессиональным литератором. Одним из первых выступил с обличением нарождающегося фашизма. Его книгу «Война и люди» высоко оценил М. Горький.

Полустанок: Стихи. Берлин, 1925; Война и люди: Семнадцать месяцев с дроздовцами. М.—Л., 1926 и др. изд.; Самоубийство попугая: Рассказы. М.—Л., 1927; Стальной шлем: Роман. М.—Л., 1927; Зяблики в латах: Роман. М.—Л., 1928; Папа Пуффель: Рассказы. М.—Л., 1927; Последняя ночь Петра Герике: Рассказы. Л., 1929; В пути. Л., 1930; Огни Беркширии: Рассказы. М., 1930; Хмельной верблюд: Роман. Л., 1930; Притоки с Запада: Очерки. Л., 1932; Молочные воды: 1-я кн. Л., 1933; Дело к весне: Рассказы. Куйбышев, 1937; Солнце этого лета и другие рассказы. Л., 1957.

МОЙ ОТЕЦ ГЕОРГИЙ ВЕНУС

Я хочу рассказать о судьбе моего отца, человека, прошедшего через невзгоды и тяготы нашей суровой и во многом страшной эпохи, человека, заплатившего за свои ошибки и чужие преступления собственной жизнью.

Георгий Венус родился в 1898 году в Петербурге. Он был тем, кого до революции называли «василеостровский немец», кого Лесков так добродушно называл «островитянами» и так тепло рисовал их органическое трудолюбие, их прирожденную честность, их быт, может быть, чуть смешноватый, рисовал, приговаривая: «Милое дитя Васильевского острова».

Двести лет вращались корни Венусов в русскую землю: ремесленников, мастеровых и рабочих. Мой дед, рабочий-ткач, умер, когда младшему сыну Георгию было 4 года. Осталась вдова с тремя детьми. На детях рабочая династия отцов нарушилась. Георгий пошел не в цех, а в немецкое реальное училище Екатериненшуле, за обучение в котором платила немецкая община. Мальчик с детства любил стихи, проникся поэзией Блока, хорошо рисовал, мечтал стать художником. Однако все сложилось не так, как мечталось. Началась первая мировая война, и в 1915 году, сразу после окончания Екатериненшуле, Венус добровольно поступает в Павловское пехотное училище. Через восемь месяцев юнкер, приняв присягу, становится прапорщиком.

Несмотря на свое происхождение и воспитание в немецкой школе, отец, выросший в традициях русской культуры, не представлял для себя другого пути кроме защиты Отечества.

Воевал он честно. Дважды был ранен, награжден Георгиевским крестом. Но уже тогда армейская действительность заставила на многое посмотреть другими глазами. Романтический пьедестал, на котором строились юношеские идеалы, пошатнулся. Об этом позднее он рассказал в романе «Зяблики в латах», автобиографическом в значительной мере.

Октябрьская революция застала Георгия Венуса в окопах. Фронт практически перестал существовать. Массы солдат покидали позиции. Возвратился в родной город и прапорщик Венус. Без погон, но во фронтовой шинели, в офицерской фуражке с кокардой, с «Георгием» на груди. Что было дальше, я точно не знаю, кажется, кто-то на

Троицком мосту незаслуженно оскорбил бывшего прапорщика, возник конфликт. Венус был задержан и оказался в Петропавловской крепости. В происшествии скоро разобрались; камеры были переполнены людьми, чья вина представлялась более значительной, поэтому прапорщика попросту выгнали на улицу, посоветовав больше не ерепениться. Но этого было достаточно. Честь офицера-фронтовика, по мнению отца, была незаслуженно оскорблена (напомню, что отцу было всего 20 лет); возвратившись домой, он принял решение пробираться на юг России.

Добравшись до оккупированной немцами территории Украины, на демаркационной линии отец, пользуясь знанием языка, заявил германскому часовому, что он немец. Часовой, не очень усердно несший свою службу, пропустил его.

Оказавшись в местах дислокации белой армии, Венус вступил в ее ряды и был направлен в Дроздовский добровольческий офицерский полк. Так была совершена ошибка, сказавшаяся на всей его дальнейшей судьбе. Дроздовцы в основном состояли из крайне монархически настроенного кадрового офицерства. При Деникине, а позднее при Врангеле они воевали на самых ответственных участках фронта и прославились своей жестокостью. В этих боях принимал участие и мой отец. На материалах бесславно закончившегося белого похода им позже, уже в эмиграции в 1926 году, был написан роман «Война и люди». Это была первая, изданная в Советском Союзе книга, автор которой являлся непосредственным участником белого движения.

Роман «Война и люди» в 20-х — начале 30-х годов выдержал несколько изданий, переведен на немецкий и чешский языки. О книге положительно отзывался А. М. Горький.

В обороне врангелевского Перекопа отец не участвовал. Во время прорыва красных в Крым, он, раненный в плечо, лежал в госпитале. Предстояла операция по извлечению пули из легкого, но сделать ее не успели. Она так и осталась в теле до конца жизни. В октябре 1920 года вместе с госпиталем отец был эвакуирован в Константинополь.

Сейчас трудно судить, мог ли отец избежать эмиграции. Наверное, мог. Вероятно, сказалось все то же ложно понятое чувство долга, верности присяге, офицерского братства...

Жизнь Георгия Венуса в Турции была подобна жизни тысяч белых эмигрантов. Все еще надеясь на реванш, Врангель и Кутепов решили сохранить свою армию. Вой-

ска были расквартированы в маленьком городке Галиполи. Для содержания войск нужны были деньги. Союзники французы давали их мало и с трудом. Офицеры месяцами не получали жалованья, бедствовали и голодали. Чтобы как-то прокормиться, отцу приходилось на берегу Босфора охотиться на черепаха. Однажды попытался торговать с лотка сдобными булочками. Продать удалось одну — четыре съел сам. После этого булочник-турок отказался вернуть отданный в залог за товар маленький серебряный медальон, полученный отцом от матери еще в России при уходе на германский фронт. Это была последняя вещь, напоминавшая о доме. Одно время отца подкармливали остатками в столовой общежития менонитов. Эта религиозная секта зажиточных немцев, эмигрировавших из России, получала помощь из Америки от своих «братьев во Христе».

Наконец Венусу повезло. Его мать, находившаяся в России, после длительной переписки разыскала в Берлине состоятельного двоюродного дядюшку, одного из управляющих известной фирмы «Сименс Шукерт», который открыл на имя Венуса счет в банке Константинополя. Три дня швейцар не впускал в помещение банка оборванного молодого человека, принимая его за бродягу. В конце концов деньги были получены. Так в начале 1922 года Георгий Венус оказался в Германии.

Константинопольская эмиграция послужила материалом для цикла рассказов, изданных в 20—30-х годах и частично переизданных в сборнике «Солнце этого лета» («Советский писатель», 1957). Гражданской войне посвящена первая часть романа «Молочные воды» («Издательство писателей в Ленинграде», 1933). Вторая часть этого романа написана на материале константинопольского периода. Венус начал писать ее в 1934 году и закончил в 1937. Две главы из второй части «Молочных вод» напечатаны в 1934 году — «Вожди» в альманахе молодой прозы и «Гранд барахолка» в номере 12 журнала «Звезда» в том же году. Это были последние прижизненные публикации Венуса в Ленинграде.

Берлин 20-х годов был наводнен русскими эмигрантами. Найти работу считалось большой удачей. Добрый дядюшка снова помог. Отец хорошо рисовал, и его приняли в рекламное бюро. Платили немного, но на скромную жизнь хватало.

В те годы в Берлине существовало множество эми-

грантских литературных кружков и объединений, которые отец регулярно посещал. В нем проснулась тяга к литературному творчеству. На одном из таких собраний отец познакомился с Мирой Кагарлицкой, и вскоре она стала его женой.

В 1923 году Венус начал писать стихи и работать над прозой. Примыкал он к эмигрантскому движению «Сменовеховцев», изредка печатался в журнале «Накануне» и других берлинских изданиях, выходивших на русском языке. Несколько его публикаций напечатали в журнале «Вокруг света» в России. Из рекламного бюро он ушел, чтобы целиком заняться творческой работой. Возникали новые знакомства. Из Парижа в Берлин приехали члены «Цеха поэтов». На встрече с Георгием Ивановым Венус познакомился с Вадимом Андреевым, сыном известного русского писателя Леонида Андреева. Вскоре они стали друзьями. Тогда же, в 1923 году, по инициативе В. Андреева в Берлине организовалась литературная группа «4 + 1» — четыре поэта и один прозаик. В нее вошли Борис Сосинский, Анна Присманова, Георгий Венус, Вадим Андреев и Семен Либерман. Группа печаталась в газете «Дни» и журнале «Накануне», выступала также на литературных вечерах.

Работу над романом «Война и люди», о котором я уже говорил, отец начал в 1924 году. Он надеялся издать его в Советской России. В 1926 году эта книга была напечатана в Ленинграде.

Германия в начале 20-х годов переживала глубокий экономический кризис. Жизнь была трудной, редкие публикации мало помогали. У меня сохранилась записка В. Шкловского, адресованная А. Н. Толстому, который в то время также находился в Берлине.

«Дорогой Шарик! Посылаю тебе молодого и талантливого писателя Георгия Венуса. Я уже доучиваю его писать. Пока ему надо есть. Не можешь ли ты дать ему рекомендацию? Он красный. Я уехал на море. Твой В. Шкловский».

Толстой помог, печатать стали регулярно.

В 1925 году Венус, а за ним и Вадим Андреев подали в советское посольство заявление о возвращении на родину. После выхода в России романа «Война и люди» отец получил разрешение. Получил его и В. Андреев.

Весной 1926 года наша семья вернулась в Ленинград. Андреев в последний момент передумал. Отец в течение

всей жизни не мог простить ему этого, и связь между ними оборвалась.

Первые годы жизни в Ленинграде после возвращения из эмиграции были для нашей семьи благополучны. Мы поселились на Петроградской стороне на небольшой улочке со странным названием Грязная. Теперь это улица Кулакова. Мамина подруга по Харькову, актриса Евгения Карнева, проживавшая в Ленинграде, выделила нам две комнаты в своей большой квартире. Отец много работал. Вышли его три романа, несколько сборников рассказов и очерков. Один из романов «Стальной шлем» посвящен зарождению фашизма в Германии начала 20-х годов. Находясь в эмиграции в Берлине, Венус был непосредственным свидетелем этих событий. Если не ошибаюсь, это первая книга в России, повествующая о начале становления фашизма.

Отец активно включился в работу по истории фабрик и заводов, организованную по инициативе А. М. Горького. Ему поручили написать историю Октябрьской железной дороги и торфоразработок Ленинградской области. Эти очерки были опубликованы.

Появились друзья среди писателей — Борис Лавренев, Сергей Колбасьев, Николай Чуковский, Елена Тагер. Дружил с художниками: братьями Ушиными — Николаем и Алексеем, с Николаем Поповым, Яр-Кравченко.

В самом начале 30-х годов в паспортном столе отцу, как бывшему белому офицеру, отказались обменять паспорт, предложив выехать на 101-й километр. Однако «недоразумение» вскоре было ликвидировано. Борис Лавренев съездил в Смольный, обратился к одному из секретарей, заверив его в полной лояльности Венуса. Из Смольного последовал телефонный звонок, в паспортном столе извинились и документ выдали.

Прошло еще несколько лет. В 1934 году закончилось строительство писательской кооперативной надстройки на канале Грибоедова, 9, членом правления кооператива был и мой отец, и мы переселились туда. В те годы в надстройке жили многие ленинградские писатели: Ольга Форш, Михаил Зощенко, Иван Соколов-Микитов, Михаил Казаков, Елена Тагер, Евгений Шварц, Борис Томашевский и др. Население кооператива было дружным, писатели общались между собой, вместе встречали праздники. Мы, дети, тоже образовали свой коллектив. Я дружил с Володей Никитиным, Костей Эйхенбаумом (оба погибли на фронте),

Валентином Зошенко, Машей Тагер, Колей Томашевским.

Но относительно спокойной жизни скоро пришел конец. В декабре 1934 года был убит Киров. Это страшное известие потрясло отца. Он почти не разговаривал, сидел запершись в своем кабинете, непрерывно курил. В конце января, ночью отец был арестован. В квартире произвели обыск. Забрали мою коллекцию марок, отметив широкую связь с границей. Через две недели отец вернулся домой бледный, обросший и растерянный. Решением какой-то комиссии ему с семьей предлагалось в десятидневный срок покинуть Ленинград и отбыть к месту административной ссылки на пять лет в город Иргиз, расположенный в песках восточного Приаралья.

Вся писательская общественность была поднята на ноги. Срок отъезда дважды откладывался. Наконец, благодаря хлопотам К. И. Чуковского и А. Н. Толстого, место ссылки было заменено на Куйбышев, но добиться полной ее отмены не удалось. Тяжелый маховик террора набирал обороты, и остановить его уже не мог никто. Это было только начало.

Кое-как распродав вещи, раздав знакомым на хранение часть книг и мебели, в апреле 1935 года мы выехали в Куйбышев.

Многие писатели пришли провожать нас на вокзал. Люди в те годы были еще не окончательно запуганы, и народу собралось много. С нами в купе в Москву ехал немецкий журналист, коммунист-коминтерновец. Отец знал его раньше, они вместе сотрудничали в одной из газет. Немец, бежавший из Германии от фашизма, никак не мог понять, что происходит. Отец все объяснял временными недоразумениями. В конце 30-х годов бедняга, вероятно, все понял, разделив трагическую судьбу большинства коминтерновцев, оказавшихся в Союзе.

В Москве мы на три дня остановились у Бориса Пильняка. У него в то время гостила Анна Андреевна Ахматова. Мне, мальчишке, это мало что говорило. Однако я почувствовал, что отец и мать относились к ней с какой-то особой почтительностью.

Борис Пильняк сразу сказал отцу, что помочь ничем не сможет. Его вмешательство только усугубит положение. К этому времени уже была конфискована его «Повесть непогашенной лучины», — он был в опале. Ничего не дали и обращения к Михаилу Кольцову и Мариэтте Шагинян. Только неугомонному Корнею Ивановичу Чуковскому уда-

лось добиться, чтобы отца не исключали из Союза писателей.

Сначала мы поселились под Куйбышевом в деревне Красная Глинка. Отец стал бакенщиком, зажигал вечером и тушил утром фонари, указывающие судоходный фарватер. Все свободное время мы вдвоем проводили на Волге. Заработка бакенщика на жизнь не хватало, ловили рыбу и меняли на молоко, фрукты, овощи. Это, пожалуй, самое счастливое время моего детства. Много бывая с отцом, я в это лето особенно привязался к нему, а любовь к рыбной ловле сохранилась у меня до сих пор.

В ссылке отец продолжал писать. Он заканчивал вторую часть романа «Молочные воды», написал повесть «Солнце этого лета», которая была издана лишь в 1957 году. Так как отец продолжал оставаться членом Союза писателей, ему иногда удавалось напечатать в местной газете или журнале небольшой рассказ или очерк. В Куйбышевском издательстве даже вышла тоненькая книжка с оптимистическим названием «Дело к весне».

Зимой 1935 года мы переехали в Куйбышев и сняли на окраине города маленькую комнату. Обстановка в стране становилась все более тревожной; все чаще звучало со страниц газет и журналов выражение «враг народа». Начались массовые аресты. По ночам отец почти не спал, подбегая к окну при шуме каждой проезжающей машины.

Весной 1938 года был арестован редактор Куйбышевского издательства. Из его стола изъяли оба экземпляра рукописи второй части романа «Молочные воды», который был уже подписан в набор. 9 апреля 1938 года отец зашел в местное управление НКВД и из проходной позвонил следователю, чтобы навести справки об изъятой рукописи. Следователь Максимов вежливо поинтересовался, располагает ли отец временем, чтобы зайти к нему за рукописью, которая по делу редактора интереса не представляет. Был выписан пропуск, отец прошел в управление, мать осталась ждать в проходной... Прошло три часа. Отца не было. Мама позвонила Максиму. Ответ был лаконичен: «Венус арестован». «Разве так арестовывают?» — спросила ошеломленная мать. «Ну, знаете ли, нам лучше знать, как арестовывают!» — ответил следователь и повесил трубку.

Больше отца мы никогда не видели. Через два дня к нам приехали с обыском. Это было днем, я был дома. Долго рылись в вещах, забрали письма, рукописи. Мы с мамой подавленно смотрели на происходящее. Вдруг она резко

обернулась ко мне: «Тебе тут делать нечего. Забирай ранец и иди в школу!» Я догадался: в старом, плотно набитом ранце хранились почти все отцовские книги, рукопись повести «Солнце этого лета», письма и другие бумаги. Я взял ранец, надел его на спину и беспрепятственно вышел. Так удалось все это сохранить.

Потом было бесконечное стояние в очередях у справочной НКВД, отказы в свиданиях и передачах. Наконец, уже летом приняли передачу и в ответ пришла первая записка отца.

«Родная! Посылаю тебе через следователя мою вставную челюсть и очень прошу отдать ее в починку, пусть там постараются склеить. Передай эту челюсть опять следователю. Передачу получил. Большое спасибо! Целую тебя и Бореньку. Ваш Юра».

На германском фронте отец был ранен осколком в верхнюю челюсть, зубы пришлось удалить и с двадцати пяти лет он пользовался зубным протезом. Позднее, от сидящего в одной камере с отцом человека, я узнал, как был сломан протез. Это произошло на допросе при ударе по лицу пресс-папье. Побои при допросах послужили и причиной заболевания плевритом. Легкие у отца были ослаблены. Я уже писал, что в легком после ранения с времен гражданской войны оставалась пуля.

После окончания следствия отец, до так называемого суда, был переведен в Сызранскую городскую тюрьму. Мама почти все время находилась в Сызрани. Таких, как она, было множество. Ночевали на окраине города под открытым небом. По ночам их разгоняла милиция, грозя арестами. Днем у тюрьмы выстраивалась длинная очередь. В сызранской тюрьме отец заболел гнойным плевритом и 30 июня был переведен в тюремную больницу.

Последнюю записку от отца мы получили 6 июля. Ее тайком передала вольнонаемная санитарка. Записка написана карандашом на клочке бумаги. Почерк был почти неузнаваем. Записка сохранилась: «Дорогие мои! Одновременно с цынгой у меня с марта болели бока. Докатилось до серьезного плеврита. Сейчас у меня температура 39, но было еще хуже. Здесь, в больнице, не плохо. Ничего не передавайте, мне ничего не нужно. Досадно отодвинулся суд. Милые, простите за все, иногда так хочется умереть в этом горячем к вам чувстве. Говорят, надо еще жить. Будьте счастливы. Живите друг ради друга. Я для вашего счастья дать уже ничего не могу. Я ни о чем не жалею, если

бы жизнь могла повториться, я поступил бы так же. Юра».

Это были последние строчки, написанные рукой моего отца. 8 июля 1939 года он умер.

Ошибки быть не могло. Санитарка, с большим риском для себя передавшая эту записку, потом рассказала матери, что видела на теле мертвого отца характерные шрамы.

Могила Георгия Венуса неизвестна.

Георгий Венус погиб, когда ему едва исполнилось сорок два года. Ссылка практически лишила его возможности писать. Сколько бы он еще успел сделать! За свою недолгую жизнь отцом написано шесть романов, три повести, множество рассказов и очерков.

Вторая часть романа «Молочные воды», написанная по материалам константинопольской эмиграции, как я уже писал, была закончена в ссылке. Два экземпляра рукописи изъяли в Куйбышевском издательстве. Третий, последний, забрали при обыске. Тогда же было изъято письмо А. М. Горького, в котором он одобрительно отзывался о романе «Война и люди». Рукописи и письма пропали. После посмертной реабилитации отца в 1956 году мы с матерью обратились в Куйбышевское областное УКГБ с ходатайством о возвращении нам рукописи. Приведу ответ на наше письмо. «Гражданке М. Венус. На Ваше письмо по вопросу возвращения рукописи романа «Молочные воды», часть II сообщаем, что по материалам дела Вашего мужа значатся не рукописи, а экземпляры, отпечатанные на машинке, которые в 1939 году уничтожены путем сожжения. Поэтому вернуть их Вам не представляется возможным. Зам. нач. УКГБ по Куйбышевской области Соковых. 31 августа 1956 г. № 11/3 818363».

Оказывается, рукописи все же горят!

По сохранившимся разрозненным черновикам мы с матерью пытались восстановить вторую часть романа «Молочные воды», но это оказалось нам не под силу. После реабилитации, в 1957 году вышел сборник Георгия Венуса (в нем повесть «Солнце этого лета» и рассказы).

Даже в самые трудные времена многие не отвернулись от отца. А. Н. Толстой, К. И. Чуковский, Н. С. Тихонов, И. С. Соколов-Микитов, М. Э. Казаков многое сделали для нашей семьи.

Борис Венус



**Елена
Львовна
ВЛАДИМИРОВА**

1902—1962

ЛЕНА — СОЛДАТ РЕВОЛЮЦИИ

На моем столе лежит папка со стихами, помеченными: «Челябинская внутренняя тюрьма, подвал», «Владивосток, пересылка», «Магадан», «Колыма».

Стихи принадлежат умершей в 60-е годы Елене Львовне Владимировой.

Много раз перебирал я ее стихи, и вновь и вновь запоздалое раскаяние тревожило мою совесть. Мимо прошел человек героического характера, трагической судьбы. Свыше пятидесяти лет тому назад мы были с нею в аспирантуре Института искусствознания, я ее почти не замечал.

Лет тридцать тому назад, уже после освобождения, она приходила ко мне в редакцию, приносила стихотворные переводы. Я познакомил ее с товарищами, ведавшими поэзией, а сам ограничился кратким, незначительным разговором. Я и не подозревал, что Лена пишет стихи.

Она была такая же сдержанная, строгая, как тогда, в дни нашей молодости.

Еще со времен комсомольской работы я привык легко сходитьсь с людьми, долгая тюремная школа еще развила эту способность, но вокруг Лены и в 1957 году, как некогда в 1930, я ощущал какое-то ледяное дыхание, зябко ежился и отходил.

В те 30-е годы в Ленинградском институте истории искусств коммунистов было вовсе не густо, и когда маленькая партгруппа рассаживалась полукругом, глаза мои неизменно упирались в чуть склоненную голову Лены, в ровный пробор, рассекавший угольную массу волос. И глаза у нее были такие черные, точно состояли из одних широко разлившихся зрачков.

Отличнейшие отношения были у меня с ее мужем, Леной Сыркиным, редактором «Красной газеты». И частенько бес искушал меня спросить Леню, простого, веселого и красивого парня, из комсомольцев первого призыва, как это его угораздило полюбить такую льдинку.

Нет уже в жизни ни Лени, ни Лены. Остались одни лишь стихи.

На моем столе лежит ее «Черновая поэма», созданная в заключении, в Магадане. Гонорар Лена получила по высшей ставке: рецензентами выступали члены военного суда, они учли высокое значение поэзии и приговорили автора к расстрелу.

Вряд ли черная совесть напомнила им в тот час позора строки, созданные за сто лет до этого гениальным юношей: «И вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь». Обычно у палачей короткая память.

...Пишу о мертвом поколенье,
о людях, смолкших навсегда,
пишу во имя тех, кто живы,
чтоб не стоять им в свой черед
толпою скорбно-молчаливой
у темных лагерных ворот.

...Команду помню: сесть, ложиться
среди дороги, в снег и грязь.
Собак, оберегавших нас,
и те начальственные лица,
чья тупость сытая страшна,
как и тюремная стена.

...Но вам,
сидевшим по своим домам,
голосовавшим в светлых залах,
не позволяю я судить
меня, искавшую дороги,
рискуя многим... очень многим...

Елена Львовна Владимирова девяносто суток дожидалась в камере смертников своего последнего часа. Дожидалась расплаты за стих, облитый горечью и злостью.

В порядке снисхождения смертную казнь за стихи заменили пятнадцатью годами каторжных работ. Но и на Колыме Елена Владимировна продолжала ковать свое оружие протеста — упрямые стихотворные строки.

Мои стихи шагали по этапам,
Не спали ночь над нарами тюрьмы.
Их трудный путь страданиями впечатан
В нагую, злую почву Колымы.
...Такой простор, что мыслью не охватишь,
Такая даль, что слово не дойдет.
Зачем ты здесь?! Какого бреда ради
Несешь, склонясь, безликий этот гнет?
Идешь в метель, в отрепьях и в опорках,
От голода почти не человек,
И брезжит чуть осадок боли горькой
Из-под твоих отекавших век.
Идешь, согнув ослабшие колени,
Как труп, как тень, из года в год подряд,
И сквозь тебя в спокойствии отменном
Твои друзья и родичи глядят.
Так нет же, нет! Тебя должны увидеть
Таким, как есть, в упряжке коробов,
У вахты стынувшим, бредущим без укрытья,
На трассе поднятым под реплику «готов».
Кем сломан ты? Кто выдумал такое?
Как смеют там принять твои труды?!
Взрывавай, мой стих, условный мир покоя,
Стеною поднятые льды.
Своей стране, родной стране Советов,
Скажи все то, что видено, что есть.
Скажи с бесстрашием поэта,
Родных знамен хранящих честь.
Сломав запрет, усталость пересилив,
Пройду страну отсюда до Москвы,
Чтоб нас с тобой однажды не спросили:
«А почему молчали вы?»

Ни смертный приговор, ни каторга не смогли принудить Лену к молчанию.

Стихи были ее протестом, ее борьбой, ее служением народу. Она не дожидалась в каменном оцепенении

XX съезда, все эти годы она оставалась в строю, бунтующая, негодующая, задумавшаяся, не дожидаясь верховных разъяснений над тем, как это могло произойти.

Увы, я могу лишь чуть-чуть приоткрыть железную решетку, чтоб выпустить из-за ее прутьев эту необычную, бушлатную музу.

Я всего лишь тюремный поэт,
я пишу о неволе.
О черте, разделяющей свет
на неравные доли.

Ограничена тема моя
обстановкой и местом.
Только тюрьмы, этап, лагеря
мне сегодня известны.

И в двойном оцепленье штыков
и тюремных затворов
вижу только сословье рабов
и сословье надзора.

В мой язык включены навсегда
те слова и названья,
что в тюрьме за года и года
восприняло сознание.

Вышка. Вахта. Параша. Конвой.
Номера на бушлатах.
Пайка хлеба. Бачок с баландой.
Бирка с смертной датой.

Это вижу и этим дышу
за чертою запрета.
Это знаю одно и пишу
лишь об этом.

Ограничена тема моя,
но за этой границей —
лагеря, лагеря, лагеря
от тайги до столицы.

Не ищи никаких картотек,
не трудись над учетом:
три доски и на них человек —
мера нашего счета.

Искалечен, но все-таки жив.
Человек, как и раньше,
он живет, ничего не забыв
в своей жизни вчерашней.

И хотя запрещают о нем
говорить или слышать —
грудь его под тюремным тряпьем
и страдает и дышит.

Он по-прежнему чувствует боль,
унижение и голод.
Пусть звучит его страшный, живой
человеческий голос.

И хотя моя тема мала,
и тюрьма — ее имя,
люди, люди за ней без числа
с их страстями живыми.

У неволи взыскательный глаз:
видит вещи нагими.
Знает цену словам и не даст
обмануть себя ими.

Сопоставит слова и дела,
вывод сделает точный,
и какая бы ложь ни была —
ее выверит тотчас.

Да, непросто быть честным на дне
страшной лагерной ямы,
хоть знаком моей теме и мне
этот честный упрямец.

Моя тема! Дай место ему,
встань с товарищем рядом.
Слава тем, кто осилил тюрьму,
кто в ней прожил, как надо!

Ничего, моя тема! С тобой
мы других не беднее.
Лишь бы не было взято тюрьмой,
что сегодня имеем,
лишь бы встретить в дороге друзей,

чтобы нам пособили
кое-как донести до людей
то, что мы накопили.
Может быть, и найдем. А теперь
за работу, за дело...

Мы идем с моей темой сквозь строй
слишком грозных явлений,
мы идем с ней по жизни самой,
по местам заключенья.

Мы с ней мучимся вместе с людьми.
Под угрозой расстрела
мы с ней вместе слагаем стихи,
как нам совесть велела.

И хотя моя тема мала,
я горжусь этой темой,
раз поднять она голос могла
за стеною тюремной.

На своем крестном пути Лена нашла друзей, и они помогли донести до нас накопленные ею рифмованные страдания. И об этом также следует рассказать.

Вряд ли кто-нибудь подумает, что подвал челябинской тюрьмы или пересылка Магадана предоставляли желающим излить свои чувства письменный стол, лампу под абажуром и письменные принадлежности.

В духоте, вони, голоде, среди стонов и проклятий Лена слагала стихи. Слагала с таким же упрямым неистовством, с каким некогда девчонкой, в красноармейском шлеме и с тяжелой для нее винтовкой в руках, дралась в степях Туркестана с бандами басмачей.

Стихи были ее прицельным огнем по врагу. Память ее изнемогала от невыносимой нагрузки. На помощь пришли товарищи по неволе. Она нашептывала им строки, и клятвой звучали обещания запомнить, а в день свободы вернуть поэту его стихи, как возвращают спрятанные от врага воинские знамена, истрепанные, простреленные, залитые кровью.

В 1944 году, в лагерной больнице Магадана Елена узнала о смерти своей единственной дочери, вывезенной из блокадного Ленинграда. Лена не сомневалась, что пре-

дательская рука, расстрелявшая ее мужа, заодно придушила голодом и ее дочь.

В примолкшей больничной палате она читала свои яростные стихи, а узницы запоминали и, кто мог, записывал.

Больных возили затем на суд подтверждать, что Лена открыто проводила «антисоветскую агитацию». Но было известно, что Лена сама восстановила по памяти даже свою крамольную поэму и предъявила ее судьям, чтобы не мытарили напрасно измученных, больных людей.

Суд проходил в мрачном закуте Магаданской тюрьмы. Шла расправа втихую. Вещественные доказательства — стихи — лежали тут же, прожигая судейскую скатерть.

Обращаясь к суду, Лена говорила:

— Наконец вы получили возможность судить меня не по инсинуациям провокаторов, а за стихи, действительно мне принадлежащие. Я предупреждена, что вы меня приговорите к расстрелу: это высокое признание моих стихов.

Лену прервал грубый окрик председательствующего; не повышая голоса, она закончила:

— Как коммунистка, признаю, однако, что хочу жить. Хочу жить, хотя бы для того, чтоб когда-нибудь рассказать советским людям о ваших преступлениях.

Так Лена шла на костер.

Одиннадцать лет спустя, в осенний день 1955 года, московского литератора навестила женщина, некогда в лагерьной больнице Магадана записавшая в самодельную тетрадочку стихи Лены Владимировой. Листки чудом уцелели, пройдя тюрьмы, этапы, неутомимые шмоны-обыски выдрессированных охранников. Литератор был давним другом трагически исчезнувшей Лены, поэтому попросил разрешения оставить у себя пожелтевшую, залоснившуюся сшивочку.

В апреле 1956 года, освободившись из тюрьмы, Лена Владимировна проездом в Ленинград задержалась в Москве. Зашла к давнему другу... и застала запись своих стихов, сделанную в Магаданской лагерной больнице ее соседкой по палате и землячкой Руфью Иосифовной Козинцевой.

Эту сшивочку Лена отнесла в ЦК партии, она прочла комиссии стихи, записанные дружеской рукой, она читала строки поэмы, удостоенной некогда высшей меры, и комиссия воздала должное — восстановила ее в партии.

Так начался сбор Леной Владимировой своих стихов, рассеянных за двадцать лет мыканья по тюрьмам и лагерям.

Одно стихотворение вернулось к ней даже через Польшу. Это одна из товарок Лены, полька, не надеясь на память, ослабленную недоеданием, расшила цветными нитками наволочку и закодировала стихи в хитроумном орнаменте.

Каким нужно было обладать мужеством, какой верой в будущее, чтобы хранить и сбересть такие строки:

Мы шли этапом. И не раз,
колонне крикнув: «Стой!»,
садиться наземь, в снег и грязь
приказывал конвой.
И равнодушны и немые,
как бессловесный скот,
на корточках сидели мы
до окрика: «Вперед!»
Сто пересылок нам пройти
пришлось за этот срок,
и люди новые в пути
вливались в наш поток.
И раз случился среди нас,
пригнувшихся опять,
один, кто выслушал приказ
и продолжал стоять.
И хоть он тоже знал устав,
в пути прочтенный нам,
стоял он, будто не слышав,
все так же прост и прям.
Спокоен, прям и очень прост
среди склоненных всех
стоял мужчина в полный рост,
над нами глядя вверх.
Минуя нижние ряды,
конвойный взял прицел.
«Садись! — он крикнул. — Слышишь, ты?
Садись!» Но тот не сел.
Так было тихо, что слышать
могли мы сердца ход.
И вдруг конвойный крикнул: «Встать!
Колонна! Марш! Вперед!»
И мы опять месили грязь,

не ведая, куда,
кто с облегчением смеясь,
кто — бледный от стыда.
По лагерям — куда кого —
нас растолкали врозь,
и даже имени его
узнать мне не пришлось.
Но мне, высокий и прямой,
запомнился навек
над нашей согнутой толпой
стоявший человек.

Такие стихи взывали к мужеству. Они закаляли души. А разве сегодня они мертвы? Разве и сегодня не обращены они к нашей совести, как штык, приставленный к сердцу?

Кто же выдал поэта? Кто толкнул его навстречу смертному приговору?

В Магадане, в лагерной больнице, Елена Владимировна попыталась записать «Черновую поэму». До этого она хранилась в ее памяти и в памяти пяти молодых парней, с которыми Лена встретилась на лагерной колонне. Анна П., вольнонаемный врач, заметила, что Лена что-то записывает. Она пожурела Лену за неосторожность, напомнила, что и в больнице бывают обыски, стихи могут попасть в руки охранников. Заботливость женщины-врача тронула Лену, и она с признательностью приняла предложение отдать записи ей на хранение.

Отдала, а через несколько дней прибыл «Черный ворон» и перевез Лену в тюрьму...

Дня освобождения Лена ждала двадцать лет. Она вернулась в опустевший для нее город: не было уже тех, с кем прошла ее революционная молодость.

Лена продолжала писать. Она ничего не забыла. Обернувшись лицом к погибшим, она напомнила живым: это не должно повториться!

Вот ее стихи, посвященные «Л. С.» — другу, мужу, погибшему Леониду Сыркину:

Сегодня разрыто все,
и кровь по камням течет.
Я вижу твое лицо
и кляпом забитый рот.
До самой минуты той
ты верил: — Не может быть!

Не может Советский строй
позволить тебя убить.
Я вижу тебя в тюрьме
и тех, кто с тобой убит.
И рана твоя во мне
и ночью и днем горит.
Для этого нету слов.
И жизнь мала, чтоб забыть
рисунок тех мертвых ртов,
кричащих: «Не может быть!»

Опубликовать стихи Елене Владимировой не удалось. В одном месте ей ответили: «Это старомодно, так теперь не пишут». В другом сотрудник порылся в ящике стола и, не найдя рукописи, ответил: «Ну, раз я потерял ваши стихи, значит, они ничего и не стоят».

Лену не печатали.

Трудно было поднять голову и взглянуть в ее неулыбчивое лицо, встретить взгляд ее неприветливых черных глаз, требующих правды, одной лишь правды...

Остается привести несколько дополнительных анкетных штрихов.

Залпы 1917 года настигли Лену Владимирову в Институте благородных девиц в «Смольном». Ей было пятнадцать лет. Отец был морским офицером. Со стороны матери она принадлежала к династии адмиралов, ведущих свою родословную с XVIII века, от флотоводца Екатерины II Ивана Бутакова.

Сердце подростка, девушки, воспитанной в традициях дворянского старинного рода, всем пылом молодости раскрылось революции.

В белокаменном зале Смольного Ленин провозгласил Советскую власть, семья Владимировых стремительно ретировалась в Париж, а сбежавшая от родных строптивая девчонка рыскала по бурлящим улицам революционного Петрограда, разыскивая штаб возникшей молодежной пролетарской организации. Революция стала ее стихией, ее клятвой на верность.

В Ленинградский университет она пришла после фронта, в горластой толпе вчерашних красноармейцев, не успевших еще сменить бойцовское обмундирование гражданской войны. Там она встретила свое веселое счастье в красноармейском шлеме, Леню Сыркина, недавнего

двадцатилетнего начдива. Революцию совершали молодые...

Почти сорок лет спустя Елена Владимировна снесла в музей революции чудом уцелевший комсомольский билет Леонида Сыркина.

И это маленькое пламя —
язык и жар далеких дней —
растущей юности на память
я в люди отдала, в музей.

...Елена Владимировна похоронена в городе Пушкине, бывшем Царском Селе, под Ленинградом, на Казанском кладбище. На граните ее памятника друзья выгравировали стихотворную строку Лены:

Живущих рядом — береги!

Слова звучат как призыв, как нравственный вывод ее трудной, героической жизни.

Анатолий Горелов



**Надежда
Савельевна
ВОЙТИНСКАЯ**

1886—1965

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Войтинская Надежда Савельевна, 13 декабря 1886 года рождения, уроженка Ленинграда (по паспорту — Тифлис), еврейка, гражданка СССР, беспартийная, литературный работник при Союзе писателей, проживала: Ленинград, Кировский пр., д. 59, кв. 12

дочь — Левидова Ада Львовна, 23 года, студентка ЛГУ.

Арестована 22 февраля 1938 года Управлением НКВД по Ленинградской области. Обвинялась по ст. 58-10 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда), 58-11 (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления).

Постановлением следственной части УНКВД ЛО от 25 марта 1939 года вследствие недостаточности улик для предания суду из-под стражи освобождена.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Войтинская (Войтинская-Левидова) Надежда Савельевна (13.XII.1886, Петербург — 21.IX.1965, Ленинград), переводчик, прозаик, автор книг для юношества. Училась живописи в Петербурге, в 1905—1908 годах занималась литографией и живописью во Франции, Италии, Германии, Швейцарии. После возвращения в Петербург сблизилась с художниками группы «Мир искусства». В 1916 году окончила историко-филологический факультет Высших женских (Бестужевских) курсов, в 1924 году — отделение теории искусства Государственного института истории искусств. В 1909 году выполнила серию ныне известных литографированных портретов писателей и художников (К. Чуковского, М. Кузмина, М. Волошина, А. Вольнского, А. Бенуа, М. Добужинского и др.), иллюстрировала несколько книг. Проводила работу по оказанию помощи политзаключенным, дважды ездила в Сибирь. После революции преподавала рисование в школе, была научным сотрудником Государственного института истории искусств.

В дни блокады оставалась в Ленинграде, работала в бюро пропаганды художественной литературы ЛО Союза писателей, переводила стихи поэтов-антифашистов (Б. Брехта, И. Бехера, Ф. Вольфа), украинских и белорусских поэтов. После войны преподавала, заведовала кафедрой иностранных языков Всесоюзного заочного лесотехнического института.

В 20-е годы перевела несколько научно-технических книг (М. Валье. Полет в межпланетное пространство, 1926), произведения Р. Люксембург и К. Цеткин. В послевоенный период перевела и обработала рассказы А. Конан-Дойля (Записки о Шерлоке Холмсе, 1946; Баскервильская собака, 1947 и др. изд.). Незадолго до смерти работала над книгой о Манифесте коммунистической партии. В рукописи остались монографии по истории и теории искусства (Рафаэль, Энгр, Проблема формы у Гильдебранда, Принцип стиля в современной науке об искусстве), повести, рассказы, очерки: «Спартак», «Кровь и уголь (Красный Рур)», «Памяти Р. Люксембург и К. Либкнехта», «Ветер с Востока», «Синие куртки», «Повесть о Коммуне».

В последние годы возник широкий интерес к художественному наследию Н. Войтинской (как художница она

известна под фамилией Войтинская-Левидова). Состоялись выставки ее работ в Доме писателя им. В. В. Маяковского (1974), в ЛОСХе (1977), в Русском музее (выставка новых поступлений, 1979) и др. Архив находится в Российской национальной библиотеке.

По пути в музей. Л., 1929.— В соавторстве с Б. Брюловым; Советские корабли. Л., 1929.— В соавторстве с А. Лавровым; На Север: История полярных экспедиций от давних времен до наших дней. Л., 1929.— В соавторстве с В. Эббелем; Земля Нансена.— М., 1930; В кольце льдов. Л., 1930; Пугачевщина. М., 1931; Заговор равных. Л., 1931; На баррикадах: Повесть о парижской коммуне. М.—Л., 1933.— В соавторстве с М. Равичем.

Архивная копия

Союз советских писателей
Ленинградское отделение
Партийный комитет

Характеристика

Войтинская Надежда Савельевна состояла на учете Ленинградского группкома писателей с апреля 1932 года. Несмотря на то, что всегда старалась быть общественно-активной, Войтинская не пользовалась доверием со стороны руководства горкома писателей и партийной организации. Она была известна как склочница, как недобросовестный человек, поддерживающий рваческие настроения среди худшей антисоветской части писательства (Полетика, Брамм). Эта группа — Полетика, Войтинская, Брамм — в период 1932—1934 годов всегда выступала единым фронтом против коммунистов с целью избиения партийных кадров, их дискредитации и вывода из руководящих писательских органов. Так, в конце 1932 года комфракция горкома писателей (профсоюзная организация писателей) решила укрепить коммунистами руководящий состав горкома. Тогда против выделенных коммунистов яростно выступили Полетика и Войтинская, зато, по предложению

комфракции, они были исключены из состава горкома писателей.

Но это был не единственный случай. Эта группа, прикрываясь лозунгами об очищении партии от примазавшихся, чуждых элементов, не пропускала ни одного политического и общественного мероприятия, используя трибуну для активных выступлений против неугодных им коммунистов, пытаясь устранить их со своего пути. Так было при выборах горкома писателей в апреле 1933 года, так было на партийной чистке в октябре 1933 года и на заседаниях горкома писателей, причем в то время их огонь, главным образом, был направлен на дискредитацию товарищей Брыкина и Неручева.

Для чего им это нужно было делать? А вот для чего: в конце 1932 года и начале 1933 Войтинская сдала в Ленинградское областное издательство свою рукопись под названием «Спартак» (О Карле Марксе). В этой своей книге Войтинская личности Карла Маркса и Фридриха Энгельса путем литературных ухищрений фактически низвела до уровня буржуа-обывателя, доказывая, что эти классики марксизма в своей жизни не приемлют того, что развивают теоретически, занимаясь пьянством, обжорством и т. д.

Эта рукопись как контрреволюционная была отвергнута Областным издательством в лице товарищей Быстрянского и Неручева. Заявление об этом в свое время было сделано Неручевым на партийной группе оргкомитета Союза писателей. Но группа — Полетика, Войтинская, Брамм — пыталась во что бы то ни стало путем дискредитации тов. Неручева протащить эту рукопись в печать и передала дело в суд, требуя экспертизы, чтобы уличить Неручева в невежестве и тем спасти свое положение. Но судебная экспертиза, а за ней и народный суд отвергли их доводы и в иске отказали.

Тогда эта группа выступила против Неручева на выборах нового горкома писателей в апреле 1933 года с отводом, мстя ему за отклоненную рукопись. На этом собрании Неручев, выступая с ответом им, назвал рукопись Войтинской анти-

советской. Войтинская угрожала привлечь его к судебной ответственности за клевету, но дело это так и замяла.

В этом же 1933 году эта группа — Полетика, Войтинская, Брамм — выступила против Ленобл-издата, предъявив ему судебный иск за какие-то отклоненные издательством рукописи в размере, если не ошибаюсь, 12.000 рублей. Вокруг этого дела они тогда подняли большой шум. Дело вел профессор Хейфиц, ныне умерший. Дело дошло до Верховного Суда РСФСР, но все же в иске им было отказано. Производственный сектор горкома писателей, по линии которого шло это судебное дело, тогда возглавляли Брыкин и Неручев, почему вся их ненависть и была направлена на этих товарищей.

В этом деле с полной ясностью были обнаружены рваческие тенденции этой группы «литераторов» и их антисоветские физиономии.

Несомненно, эта группа проводила в писательской организации подрывную работу, но прикрываясь партийными лозунгами и тем самым маскируя свою антисоветскую физиономию, вводила в заблуждение писательскую общественность.

Как литератор Войтинская никакой ценности не представляет.

Председатель группового
комитета писателей

Ив. Никитин

22 сентября 1938 г.

Архивная копия

Профессиональный союз работников печати СССР
Групповой комитет писателей

Характеристика

Войтинская Надежда Савельевна состояла на профучете Ленинградского горкома (ныне группком) писателей с апреля 1932 года. Из профсоюза не исключалась, с профучета горкома писателей

не снималась, но в январе 1933 года Президиумом горкома была выведена из состава авторско-производственного сектора, где она вела общественную работу.

Данная мною 22/IX—38 года характеристика на Войтинскую Н. С. во многом не соответствует действительности, так как я писал ее со слов тов. Брыкина Н. А. и Неручева И. А., коммунистов, членов Президиума горкома, возглавлявших тогда авторско-производственный сектор, поверил им на слово и был по ряду вопросов введен ими в заблуждение. При тщательном выяснении этого дела не подтвердилось их заявление об исключении Войтинской из профсоюза или снятия с учета горкома, во всяком случае нет материалов, подтверждающих заявление об исключении Войтинской из профсоюза.

Как на выборах нового горкома писателей 8.IV—1933 года, так и на партийной чистке в ноябре 1933 года Войтинская выступала не против коммунистов вообще, а против одного только Неручева (8/IV—33 года), с отводом его кандидатуры в новый состав горкома писателей, имея с ним личные счеты.

Ошибочным оказалось мое заявление в характеристике от 22/IX—38 года относительно рукописи Войтинской «Спартак». Рукопись я не читал и не видел, я писал характеристику со слов тов. Брыкина и Неручева. Неручев говорил мне, что в рукописи «Спартак» речь идет об основоположниках марксизма: Карле Марксе и Фридрихе Энгельсе, чем явно и, думаю, сознательно ввел меня в заблуждение. Рукопись эта, судя по отзыву т. Шелавина, не контрреволюционная, но плохая, политически неверная, непригодная к печати.

В 1933 году группа литераторов, в том числе и Войтинская, предъявляли Ленинградскому областному издательству крупный денежный иск за якобы незаконное использование в печати их литературных произведений, дело доходило до Верховного Суда, но кто в этом деле был прав: Ленинградское областное издательство или предъявившие иск литераторы, я не знаю. Значит, пока

что нет основания обвинять Войтинскую в рваческих тенденциях.

Несомненно одно: Войтинская не пользовалась авторитетом среди писательской массы и как литературный работник никакой ценности не представляла и не представляет, что дружила с людьми незаслуживавшими никакого доверия, такими, как Полетика, Брамм, но сказать, что она антисоветский человек, маскировалась и вела в писательской организации подрывную работу, этого я сейчас при более тщательной проверке материалов не беру на себя смелость утверждать.

Считаю, что ранее данная характеристика Войтинской Н. С. в этой части ошибочная, написанная со слов Брыкина и Неручева, которые не были объективны в этом деле, ввели меня в заблуждение, сводя с Войтинской, как мне сейчас кажется, личные счёты.

Председатель группового
комитета писателей

Ив. Никитин

13 февраля 1939 г.



**Давид
Исаакович
ВЫГОДСКИЙ**

1893—1943

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Выгодский Давид Исаакович, 23 сентября 1893 года рождения, уроженец г. Гомеля (БССР), еврей, гражданин СССР, беспартийный, писатель и переводчик (член ССП), проживал: Ленинград, Моховая ул., дом 9, кв. 1
жена — Выгодская-Хейфец Эмма Иосифовна, 1898 года рождения, уроженка г. Гомеля, писательница, проживала с мужем
сын — Выгодский Исаак Давидович, 14 лет (проживал там же)

Арестован 14 февраля 1938 года Управлением НКВД по Ленинградской области. Обвинялся по ст. 58-8 УК РСФСР (террористический акт), 58-10 (антисоветская агитация и пропаганда), 58-11 (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления).

Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 23 июля 1940 года определено содержание в ИТЛ сроком на 5 лет.

Умер 27 июля 1943 года в Карагандинском ИТЛ. Определением Военного Трибунала Ленинградского Военного округа от 25 марта 1957 года постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 23 июля 1940 года в отношении Выгодского Д. И. отменено, и дело за отсутствием в его действиях состава преступления прекращено.

Архивная копия

Характеристика

Давида Исааковича Выгодского я знаю на протяжении многих лет, начиная с 1921 года. Знаю по работе в редакции журнала «Книга и революция», в котором он выступал как критик и библиограф, знаю, как переводчика и поэта по отдельным его работам, например, по переводам с украинского. Он специализировался в романских литературах, главным образом как испанист и, накопив в этой области громадный опыт, стал признанным в среде переводчиков работником. Он является также весьма видным знатоком русской поэзии, особенно библиографии поэзии советского периода.

Весьма часто встречал я Д. И. Выгодского на общественной работе в литературных организациях Ленинграда. К этой работе он относился образцово и снискал к себе уважение всех писателей.

На меня Выгодский всегда производил впечатление хорошее. Это человек от природы общественный, деятельный, неустанно работающий и очень скромный. В честности, прямотушии, нравственной чистоте его у меня никогда не было повода усомниться. По-моему, Выгодский предан советской литературе совершенно бескорыстно и глубоко искренне.

Писатель-орденоносец

Член Президиума Союза советских писателей СССР

К. Федин

Москва, 19 ноября 1939 г.

Характеристика члена ССП
Выгодского Давида Исааковича

Давида Исааковича Выгодского я знаю с момента моего возвращения в Ленинград из Красной Армии, с конца 1923 года. Встречался с ним в основном на работе в Правлении Союза писателей, в ряде комиссий и секций ССП.

Все это время Д. И. Выгодский производил на меня впечатление человека с исключительно сильно развитой общественной жилкой, энтузиаста распространения в нашей стране классической западной литературы (в особенности он был горячо увлечен испанской литературой). Все поручения и работы, которые ему давались Союзом советских писателей, Д. И. Выгодский проводил очень добросовестно и с большим увлечением, не формально.

Со стороны общественной оценки Выгодский пользовался в ССП настолько большой популярностью и уважением, что, как мне известно, парторганизация ССП предлагала Д. И. вступить в партию и на партсобрании ему были даны лучшие отзывы. Никогда мне не приходилось слышать от Выгодского или о Выгодском хоть что-либо, что нарушило бы мое представление о нем, как о советском человеке и хорошем товарище.

Член Президиума ЛО Союза советских
писателей СССР

Орденосец

Б. Лавренев

13 ноября 1939 г.

Характеристика

Мы знали Выгодского с 22-го года. Мы знали его, как талантливого литератора, много и плодотворно работавшего в области перевода и популяризации революционной литературы Запада, в особенности испанской литературы. Эта работа созда-

ла Д. И. Выгодскому хорошее литературное имя. За все те годы нам ни разу не привелось столкнуться с таким фактом из деятельности Д. И. Выгодского, который мог бы нарушить наше представление о нем, как о честном советском гражданине.

М. Зоценко
М. Слонимский

«И ВСЕ ПЕРЕСТРОЮ, КАК НАДО...»

Этого человека я знал, казалось, давно.

Я постоянно встречался с ним, идя по дорогам главного моего героя в поэзии — Николая Тихонова. Именно Д. Выгодский правильно писал о «Серапионовых братьях» — Лунце, Тихонове, Федине и других, что это не школа — они слишком индивидуальны, слишком талантливы, чтобы ограничить себя рамками школы. Кто особенно весомо сказал о Н. Тихонове сразу после издания его первых книг «Орда» и «Брага»? Опять же — Выгодский: «Может быть, именно в Тихонове современная эпоха нашла себе наиболее яркого истолкователя»¹. Едва ли не первым Выгодский отметил близость стихов Тихонова и Н. Гумилева.

У него постоянно не было дров для его холодной комнаты в Доме искусств, не было теплого пальто в условиях северного зимнего города, но зато свет в его комнате всегда горел допоздна, и можно было не сомневаться, что хозяин нетопленной комнаты прохаживается от окна до стены, подыскивая нужное слово — для перевода или статьи. Не любить, не уважать его было, как писала Мариэтта Шагинян, просто невозможно. «Серапионы» вспоминали, что Выгодский был им просто необходим с его знаниями, культурой, скромностью, способностью к юмору, отзывчивостью, доброжелательностью.

Ну, а тем, кто занимался испанской и южноамериканской литературами, без Выгодского было просто не обойтись! Еще в 1927 году он предварил своей вступительной статьей книгу «Латинская Америка», только в 1935 году

¹ Книга и революция, 1923, № 2.

с его предисловиями вышли «Хутор» В. Бласко Ибаньеса, «Флибустьеры» Хосе Рисаля, «Преступление падре Амару» Эса де Кейроша. И он не просто публиковал статьи о современных литературах Испании и Латинской Америки, но его статьи были едва ли не единственными источниками по этим литературам.

Родился Давид Исаакович 4 октября 1893 года в городе Гомеле, и в 1922 году там же вышла его первая книга — сборник стихов «Земля».

Еще в начале 20-х годов он показал себя и активным переводчиком, издав в своем переводе в Москве и Берлине сборник рассказов Х. Бялика, подготовив «Еврейскую антологию» и сборник «Из украинских поэтов», переведя романы «Девятое ноября» Б. Келлермана и «Голем» Г. Мейринка, а совместно с В. Узиным — античные элегии и эпиграммы Марциала. К этому надо добавить также переведенные им стихи и прозу Р. Браунинга, А. Теннисона, И. Бехера, А. Барбюса, П. Вайян-Кутюрье, Д. Джерманетто — всего с тридцати новых и древних, западных и восточных языков переводил он! Склонность и способности к языкам помогали ему открывать новые художественные миры.

Он переводил Максима Рыльского и Павла Тычину, делал известной послереволюционную белорусскую литературу, переводил Петра Панча. Он переводил и прозу, и стихи, ибо в нем продолжал жить поэт, хотя своих стихотворных сборников он больше не выпускал.

Понять других ему помогали отзывчивость и открытость. Михаил Слонимский вспоминал: «Он ничего не умел скрывать. Хитрость была чужда ему. И когда вдруг он стал исчезать по вечерам, а потом возвращался растерянный, сияющий, склонный уже не переводить чужие стихи, а писать собственные, то легко было нам догадаться, что такое приключилось с ним. И вскоре он познакомил нас со своей женой, отчество которой нас не заинтересовало. Попросту Эмма, новый наш друг и товарищ...»¹. Добавим, что Эмме было посвящено стихотворение еще в первой книге его стихов.

От 20-х годов осталась еще одна оригинальная книга Выгодского — «Литература Испании и Испанской Америки. 1898—1929». Можно сказать, что она в известной мере определила дальнейший творческий путь, как маяк

¹ Слонимский М. Книга воспоминаний. М.—Л., 1966, с. 195.

в океане литературно-географических пристрастий. В 30-е годы Выгодский окончательно специализируется в области испанской и южноамериканской литературы. Он становится председателем Испанско-Американского общества в Ленинграде.

За плечами Выгодского — сотрудничество еще до революции в журнале М. Горького «Летопись», это было хорошей школой гражданской деятельности. В 20-е годы в журналах «Книга и революция», «Россия» он учился чувствовать массового читателя. Все это пригодилось в дальнейшем.

1936 год. «Звезда» и «Резец» публикуют статьи Выгодского «Современная испанская литература» и «Живые силы испанской литературы». Читатель видит параллели современной Испании с ее прошлым во времена Наполеона и в XIV веке, во времена Хуана Руиса, знаменитого «архиепископа из Итты», который прославлял реальную жизнь. Автор показывает развитие темы протеста против католических догм, развитие испанской освободительной мысли. Мы видим анализ творчества Переса Гальдоса, крупнейшего испанского писателя XIX века, защитника идей буржуазного либерализма. И мы вспоминаем, что роман Бенито Переса Гальдоса «Донья Перфекта» Выгодский перевел и издал в сопровождении своего предисловия в 1935 году, а другой его роман «Золотой фонтан» отредактировал и снабдил предисловием для издания в 1937 году. Так было у него всегда — материал он брал из первых рук: сам переводил книги, сам писал о них.

Еще в 1929 году в Ленинграде был издан под редакцией Д. Выгодского «Альманах иностранной пролетарской литературы» с его предисловием (хотя и скромно, под инициалами). В альманахе такие имена, как И. Бехер, В. Броневский, А. Упит, М. Голд и другие. В переводах Выгодского представлены поэты И. Бехер («Красный марш»), Анри Гильбо («Карл Либкнехт»), П. Вайян-Кутюрье («Красные поезда»), Уиттер Бине («Старики и молодые»), Херман Лист Арсубиде («Косьба»), Бланко Люс Брум («Гимн дереву»), Антонио Арраис («Гимн мятежу») — целая антология в антологии!

Минуло начало 20-х годов, когда Н. Тихонов, А. Грин, Вс. Рождественский, Д. Выгодский жили в ставшем писательским общежитием Доме искусств. Давид Исаакович с женой перебрался в дом на Моховой улице. Таким он запомнился — возвращающимся к себе по Литейному

проспекту от букинистов с громадной связкой новых для него книг. Хотя он и переехал на новую квартиру, ее в сущности и не было — от пола до потолка все пространство занимали книги.

30-е годы. Грянул мятеж в Испании. Недаром друзья называли Давида испанцем, подшучивая, прибавляли к его фамилии «дон» или «кабальеро»: как он мог не встать в первые ряды духовных борцов с фашистской агрессией? Пригодились громоздившиеся до потолка книги и зарубежные контакты. Вскоре после гибели Федерико Гарсиа Лорки Выгодский публикует о нем статью в «Литературном Ленинграде».

Мы знаем посвященные республиканской Испании произведения Н. Тихонова, И. Эренбурга, М. Кольцова, К. Симонова, но в первые ряды нашей революционной испанианы должны встать в сознании советских людей переводы Выгодского из Гарсиа Лорки, Рафаэля Альберти, который в стихотворении «Защита Мадрида» устами Выгодского восклицал:

Каждый дом и переулок,
Если час придет суровый,—
Не придет он! — цитаделью
Станет с крепкою стеною.
Станут замками с зубцами
Твои люди поголовно,
Руки — тяжкими вратами
На невиданных запорах.

Стихотворение было напечатано в ленинградском журнале «Звезда» и могло оказаться созвучным не только Мадриду 37-го, но и Ленинграду осени 41-го. А разве не стоит в ряду с интернационалистскими блокадными произведениями Николая Тихонова, Армаса Эйкиа, Ольги Берггольц переведенное Выгодским стихотворение Рафаэля Альберти, посвященное немцу, стоящему по нашу сторону баррикады, коммунисту, защитнику Мадрида Гансу Беймлеру:

Рот-фронт! — произнес Ганс Беймлер
И опрокинулся навзничь.
Это слышали французы,
И немцы, и итальянцы,
Испанцы слышали это.

Слышал Мадрид, слышал каждый,
И слышала с дрожью пуля,
В тело его вонзаясь¹.

Не было ли тут предчувствия и собственной судьбы? Маленького роста, худенький, бледный, он брал на свои плечи большую ношу. В письме Антонио Мачадо Выгодский писал, что ему неудобно сидеть в теплом и уютном кабинете, уставленном книгами, в то время как Мачадо вынужден жить в изгнании. Злая судьба услышала эти сетования...

Дальше нельзя говорить спокойно. Для Выгодского наступил 38-й год. Об этом рассказывает Мариэтта Шагинян: «Во второй половине 30-х годов ночной стук в квартиру был страшным событием. За ним следовало несчастье и разлука. У Давида Выгодского была жена и маленький сын. Ночью к нему постучали. Он простился с женой и сыном, веря, что скоро увидит их, зная, что за ним нет вины перед Родиной. И с этой ночи ни жена, ни сын, никогда больше не увидели его добрых, ласковых глаз из-под нависших над ними дремучих бровей, не услышали его негромкого голоса с неизменными нотками юмора в нем, не встретили его в дверях в обычной старенькой курточке со связкой книг под мышкой. За Давидом Выгодским замкнулась стена молчания»².

Что послужило поводом? Не было ли это безрассудно — в 37-м году переписываться с Америкой, хотя бы и Латинской? А переводы из Андре Мальро? А Бухарин? Но не все ли теперь равно...

Как вспоминали знавшие его, он избегал разговоров о себе, но с увлечением говорил о других поэтах. И есть какая-то необходимая доля справедливости судьбы в том, что, когда поэт умолк, его друзья заговорили о нем. «Серапионовы братья» М. Слонимский и М. Зощенко писали о нем державным адресатам из НКВД: «Мы знали Выгодского с 22-го года... За все те годы нам ни разу не привелось столкнуться с таким фактом из деятельности Д. И. Выгодского, который мог бы нарушить наше представление о нем, как о честном советском гражданине». Еще один «серапионовец» — К. Федин — писал туда же: «В честности, прямотушии, нравственной чистоте его у меня никогда не было повода усомниться»³. Виктор Шкловский:

¹ Звезда, 1937, № 5, с. 42.

² Наш современник, 1964, № 8, с. 99.

³ Там же.

«Он перевел на испанский язык поэзию Маяковского... Новый ритм перевода оказал решающее влияние на революционную испанскую поэзию и открыл народам испанской культуры новую страну социализма с ее новой культурой». Юрий Тынянов: «Давид Выгодский всегда был глубоко честным советским писателем и человеком...»

Далеко не о всех так хлопотали.

Давид не погиб сразу, он погиб лишь в 1943 году. Но то было продление жизни или продление агонии? Ужасные вопросы фантазмагорического времени... Но и на кругах ада он оставался тем, кем был, — поэтом. За полтора года до гибели он писал:

О Родина, в последний час,
Пока рассудок не угас,
Клянусь последним взлетом мысли,
Что я от разрушенья спас,
Клянусь слезами, что нависли
На уголках потухших глаз,
Я верен был своей Отчизне
И верным ухожу из жизни...¹

И еще успел он сказать, обращаясь к Родине: «Узнаешь — пред тобою прав твой сын, и ты вернешься к сыну...»²

Честное имя вернулось к нему — и он вернулся к нам. К нам — это буквально ко всему миру, прислушайтесь — к Испании, к Филиппинам, к Мексике, к Боливии, к Эквадору, к Колумбии, к Бразилии, к Уругваю, к Кубе. Ведь поэтов Кубы первым у нас переводил именно он. Если мы говорим, что Тихонов и Пастернак открыли для советского читателя поэзию современной Грузии, то поэзию Кубы, еще в первые дни Октября, открыл нам Давид Выгодский.

Дело не только в количестве переводов — дело в их весомости и качестве: перед нами целая переводческая школа. Выгодский переводил не с подстрочников, как многие теперь, а с оригиналов и зачастую, как мы отмечали, в контакте с авторами и с их одобрения.

Он сделал много. Человек может прожить долго — и не оставить следа, может угаснуть, как факел, — а потом начинается его вторая жизнь, жизнь его творчества. Очевидно, сейчас справедливость должна прошлому возмес-

¹ *Слонимский М.* Книга воспоминаний, с. 197—198.

² Там же, с. 198.

тить сторицей. В архиве Выгодского остались не опубликованными переводы из Овидия и Кальдерона.

Современники вспоминают большую культуру Выгодского и знания, масштабное понимание времени — разве это не созвучно нам и разве порой мы не страдаем от отсутствия именно всего этого? Как главное, современники подчеркивают в нем прежде всего чистую душу, которая светилась в каждом его слове, в каждом добром товарищеском поступке. Недаром на адрес осиротевшей после ареста квартиры долго еще из стран Южной Америки приходили письма и книги с трогательными надписями...

С его-то культурой, с его добротой, с его человечностью и улыбкой — окрики конвойных, нары, ругань, вечная тьма несправедливости... Сколько раз он просыпался с одной и той же болью — надо бы исправить строку! А может быть, томил абзац прозаического перевода из того же Андре Мальро? Но исправлять было уже нечего и, главное, незачем... А мы искренне и вдохновенно пели бодрые и жизнеутверждающие песни.

Уже прогремела великая битва на Волге, уже двинулись наши войска на Запад, а для него не было пути Победы, как и не было самого пути. Но погибшие в бериевских лагерях также погибли за Победу. А Выгодский был солдатом второй мировой еще на подступах к республиканскому Мадриду... И не о нем ли сказал его устами Рафаэль Альберти:

Кто говорит, что вы мертвы? Сквозь злобный свист
Опустошительным огнем летящей пули
Я слышу песни звон, я вижу свежий лист,
Которого еще могилы зубы не коснулись¹.

Владислав Шошин

¹ Испанская поэзия в русских переводах. М., 1989, с. 789.



**Нина
Ивановна
ГАГЕН-ТОРН**

1900—1986

СЕДЬМОЕ НЕБО

Петербург, 1916 год. Кто-то из друзей написал на ее фотографии: «Солнышко!..» Это слово не стерлось за целую жизнь. «Нина Г. тогда напоминала то ли персонаж из скандинавских саг и преданий, то ли григовскую Сольвейг. Пшенно-белые волосы, голубые глаза, решительный тон...» (Лев Успенский).

Красавица и умница. Ровесница века. Дочь профессора Военно-медицинской академии, обрусевшего шведа Ивана Эдуардовича Гаген-Торна. Отчаянная с детства: ездила верхом, лазила по соснам на дюнах, уходила в море на байдарке одна — к ужасу близких.

Выпускница Петербургского университета. Поэт — ученица Андрея Белого. Ученый-этнограф — ученица Тана-Богораза и Штернберга. Блестящее, многообещающее начало. Скитания по русскому Северу и Поволжью — экспедиция «с котомкой» (так называется ее повесть о юности). А между скитаниями — совсем другой мир: Петербург—Петроград. Встречи с Андреем Белым. Вот какими остались они в памяти Нины: «Общение с ним открывало неведомые пласты сознания, прасознания какого-то... Это другое восприятие мира, где человек взлетел над видимым глазами в невидимое».

Такой была увертюра. А потом жизнь: тюрьмы и лагеря. Возчик на конях и быках в разных лагкомандировках Колымы: Сеймчан, Эльген, Мылге... Один срок, второй... И там надо не только выжить, но запомнить, запечатлеть в слове.

Об этой поразительной судьбе — письмо, присланное во Всесоюзную комиссию СП СССР по литературному наследию репрессированных писателей К. С. Хлебниковой-Смирновой из Таллинна:

«Она работала в Академии наук в Ленинграде с перерывами: то пять лет в Академии, то на Колыме или в каком-нибудь другом лагере, и все по пять лет! Дети в малом возрасте были отняты у нее...

В страшной жизни, где люди носили платье с номерами, не имели связи с нормальным бытием, встретить человека, как бы витающего над всем лагерным ужасом,— чудо. И этим чудом была встреча с Ниной Ивановной Гаген-Торн.

Встретилась я с Ниной Ивановной в Мордовии, в Потьме, в 1949 году. Я после брюшного тифа находилась в полустационаре третьего лагпункта. Лежали мы на сплошных нарах, больные, занятые своим горем. Почти все были обвинены в преступлениях, которых не совершали. К нам приходила, нам служила известная своей добротой Нина Ивановна. Она не только старалась облегчить нам физические страдания, но и душевные. Читала свои и чужие стихи, рассказывала об экспедициях. И мы на какое-то время забывали о своей доле горькой...

Нина Ивановна работала в лагерной службе «конем». Она говорила: «Конь — благородное животное. Хорошо быть конем!» (Несколько женщин впрягались в телегу летом, в сани зимой и возили бочку с водой то в столовую, то в больницу. Возили они и дрова. Труд тяжелый, а женщины были пожилые...)

Помню такой случай. В сильный мороз женщины никак не могли опустить в колодец ведро. Сруб колодца очень обмерз, а колодец глубокий. Надо было спуститься на веревке вместе с ведром и топором увеличить прорубь. На такое дело решилась только Нина Ивановна. Она попросила обвязать ее веревкой и, вися на веревке и кое-как опираясь ногами о края проруби, старалась прорубить ее больше, чтобы пролезло ведро. Смотреть было страшно, а Нина Ивановна работала спокойно и весело.

Другой раз я видела ее сидевшей на обледенелом

желобе, высоко над землей. Желоб был протянут между двумя домами — баней и прачечной — на высоте трехэтажного дома. Я плохо помню всю эту конструкцию, но хорошо помню, как Нина Ивановна медленно едет, сидя верхом на желобе, и обрубает топором лед, чтобы прошла вода. Мы, глядя на нее, пугаемся, а она весело смеется.

На 10-м лагпункте было много украинских больных девушек. Нина Ивановна устроила академию — занималась с девушками русской литературой и историей. Впоследствии некоторые из них поступили в университет на филологический. Кроме академии, Нина Ивановна написала там большую поэму о Ломоносове, которую во время обыска отобрали лагерные надзиратели. Оперуполномоченный сказал Нине Ивановне: «Пишите и приносите ко мне на хранение. Когда освободитесь, я ее вам пришлю по почте...» Сдержал слово, прислал в Красноярский край, где Нина Ивановна оказалась в ссылке...

Реабилитация после смерти Сталина. Встреча со взрослыми уже детьми. Родовое гнездо — старый деревянный дом, чудом уцелевший на Ораниенбаумском пятачке. И третья эпоха жизни — тридцать лет всепоглощающего труда: научная работа в Академии наук и литературное творчество. Научная монография, десятки статей, книга о своем учителе — Л. Я. Штернберге, рассказы, повести, поэмы, сотни стихотворений, воспоминания...

И почти все до сих пор не опубликовано.

Ничто не изуродовало ее душу, не сломило духа. Улыбка — на всю жизнь. Когда однажды фотография Нины Гаген-Торн была опубликована в газете, в редакцию посыпались письма, некоторые просто с фотографиями неопознанных загадочных женщин. «А может быть, это она?..» Само явление красоты взволновало, растревожило.

Кроме высокого примера человечности, Нина Гаген-Торн оставила нам еще один пример — спасения через Слово. Свои наблюдения — выстраданные, мудрые — о природе поэтического творчества она выразила в чеканной формуле: «Те, кто разроют свое сознание до пласта ритма и поплывут в нем,— не сойдут с ума. Стих, как шаманский бубен, уводит человека в просторы Седьмого Неба...»

Этот феномен еще требует осмысления. Может быть, потому и не сошел наш народ с ума, что находил это спасительное убежище — в творчестве, в Слове. И не в том ли

печальная разгадка такой особой склонности нашей к литературе?

Стихи Нины Гаген-Торн знали и ценили Анна Ахматова и Борис Пастернак. Илья Сельвинский писал ей в 1964 году:

«Дорогая Нина Ивановна! С глубоким волнением прочитал Ваши стихи. В них захватывает подлинность переживания. Это гораздо выше искренности, которая иногда у некоторых поэтов как бы смакует боль и этим впадает в кощунство. Вы очень верно сказали: „О боли надо говорить простыми, строгими словами“... Именно так Вы и говорите.

Ужасно жаль, что в наше время, запутавшееся в далеко не диалектических противоречиях, Ваших стихов нельзя опубликовать. Но не падайте духом: придет и для них время — иное, освобождающее. Вы в этом отношении не одиноки: целые романы и трагедии спят в берлогах, ожидая весны».

Секрет претворения жизни в стихи она не потеряла до конца своих дней.

Рукописи Нины Ивановны Гаген-Торн передала комиссии ее дочь Галина Юрьевна, сберегшая творческое наследие матери.

Виталий Шенталинский



Н. ГАГЕН-ТОРН

ИЗ КНИГИ ВОСПОМИНАНИЙ

В библиотеке Академии наук СССР в Ленинграде 30 декабря 1947 года мне была вынесена приказом благодарность за организацию выставки по фольклористике. Утверждена к печати составленная мною энтографическая библиография на двенадцать печатных листов. Целый день сотрудники пожимали мне руку, радуясь, что можно считать забытыми мои прошедшие годы: арест 1937 года, колымские лагеря, послелагерные трудности и тревоги. Я весело отшучивалась от поздравлений.

К концу дня, собрав карточки, я диктовала проспект утвержденной моей работы машинистке. «Нина Ивановна,

вас просит зайти замдиректора по хозяйству...» У меня безотчетно екнуло и покатило сердце. Спустилась на первый этаж, постучала, вошла в кабинет. За столом сидели двое. «Нина Ивановна Гоген-Торн?» — поднимая бумажку, спросил один. — «Да, я». — «Прочтите». — Опять екнуло в груди. Взяла бумажку: ордер на обыск и арест.

Когда человек поцарапает руку или ударится об угол, ему сразу становится больно. Если он сломает руку или пробьет череп — боль приходит не сразу, вначале ее не чувствуешь. Это я уже знала. И знала, что при психических травмах то же самое: неприятность сразу свербит, потрясение доходит до сознания не скоро. Вначале остается спокойствие и как бы нечувствительность. Только мелкая дрожь под коленками да автоматичность движений.

По рассказам на Колыме знала и как выглядят лубянские камеры — ведь это был второй тур. Ленинградская, свердловская, иркутская тюрьмы, владивостокская пересылка были позади.

Меня ввели в «бюкс» — изолирующую коробку без окон, где помещался короткий топчан и столик, оставляя два шага до двери. Села, обдумывала поведение. Решила: надо сделать вид, что от шока начала заикаться, тогда будет время обдумать каждое слово ответа, а лишнее слово — лишняя цепь допросов.

Представился дом. Там все готово к встрече Нового года: уже сделана бражка, кончены основные приготовления печений, салатов. Сегодня мы хотели переставлять мебель, чтобы в маленькой комнате разместить гостей — у нас собиралась праздновать молодежь — друзья дочерей. К ним сегодня приедут другие гости, передвинут, обыскивая...

Щелкнул замок. «Пойдемте».

Стрелок повел меня на второй этаж, к следователю.

В кабинете — толстый, кудрявый и плотный майор. Посмотрел и сказал:

— Садитесь на стул. Вот в углу. Рассказывайте ваши антисоветские действия.

— У меня их не-не было.

— Что же вас зря в лагерях держали?

— Э-э-э-то бы-бы-ла ошибка, — отвечала я, придерживаясь тактики тянуть и обдумать.

— Вы что, заикаетесь?

— Н-н-н-нервное.

— Так! Значит, по ошибке держали? И вы не питаете за это вражды к Советской власти?

— О-о-о-ошибки случаются. Это не-не власть, а слу-у-учай.

Он стукнул кулаком по столу, выпучил глаза и закричал:

— Я тебе покажу случай! Б..! Политическая проститутка! Туды твою...

Трехчленка без вариаций. Предназначенная бить громом и стучанием кулака. Прослушала молча, пока он не задохнулся. Сказала спокойно, бросив прием заикания:

— Это бездарно. Я могу много лучше.

И я загнула мат со всей виртуозностью, выученной в лагерях,— в Бога, в рот, в нос, во все дырочки, со всеми покойниками, перевернутыми кишками и соответствующими рифмами. На пять минут, не переводя дыхания, крепкой, соленой блатной руганью. Он слушал с открытым ртом. Когда я остановилась, завопил:

— Это меня?! Меня она материт?!

Выскочил из кабинета и привел второго, еще толще и рослее.

— Вот, товарищ начальник, заключенная матерится.

— Просто учу,— сказала я.— Если уж применять мат, надо уметь это делать. Шесть лет я слушала виртуозный блатной мат, а майор хотел терроризировать меня простой трехчленкой. Это не квалифицированно.

Начальник отдела захохотал:

— Уведите ее в камеру.

Потом я узнала, что этот майор служил специально для ошеломления перепуганной интеллигенции криком. Меня взяли в библиотеке Академии наук. Значит, пожилой, тихий научный работник. Надо глушить. Вышла производственная ошибка — забыли, что лагерница.

Мне дали другого следователя.

К вечеру заверещал и щелкнул замок. Дверь широко раскрылась: «На прогулку».

Нас посадили в лифт. Подняли очень высоко. Открыли дверь. Пахнуло морозцем. Вышла.

Ночное небо озарено снизу огнями города. Ярко направлен луч фонаря, освещающий клетку без крыши. В рост человека бетонные стенки, выше на два метра — проволочная сеть и за ней еще такие же сети клеток. Можно сделать шагов двадцать по кругу. Над клетками мер-

цает, отражая огни, клубится небо. В луче фонаря танцуют звездочки снежинок. Из глубины, снизу, доносятся гудки машин, звон трамваев, гул большой площади. Клетки — на крыше, на восьмом этаже. Стою. Смотрю.

Кружатся снежные звезды. Под их ритм возникают стихи:

Встав на молитву, стою и молчу.
Сердце свое я держу, как свечу.
Если зажжется сияющий свет,
Будет мне, будет нежданный ответ.
Бьется в висках обессиленный мозг,
Белыми каплями падает воск.
Это — в истаявшем сердце моем —
Вспыхнула вера нетленным огнем.

Во что вера?

В то, что есть все-таки небо. И это помощь судьбы, что не спустила нас в колодец двора, а подняла на крышу. Здесь выход из клетки к танцу снежинок, к черному небу — ничего они не смогут сделать со мной!..

Вспомнилась одиночка в Крестах, в 1937. Тогда я еще не знала, что стих в тюрьме — необходимость: он гармонизирует сознание во времени. Ольга Дмитриевна Форш не была в тюрьме, но хорошо поняла, что человек выныривает из тюрьмы, овладевая временем, как странством. Но он (как его звали, одетого камнем?), выныривая из тюрьмы, не нашел выхода в ритм стиха и потому сошел с ума. Те, кто разроют свое сознание до пласта ритма и поплывут в нем — не сойдут с ума. Снежинки в фонаре тоже танцуют ритмически. Белые на черном небе. Овладение ритмом — освобождение... Они ничего не смогут сделать... Щелкнула дверь клетки: «В камеру!»

Мясорубка работала автоматически. Не было садистской романтики 37-го года, когда мы слышали сквозь стены стоны и крики людей. Когда шептались о побоях и истязаниях, а следователи проводили бессонные ночи, вытягивая из измученных людей фантастические заговоры. Следователи изменились: в 47-м мне встретились не маньяки, не садисты и виртуозы, а чиновники, выполнявшие допросы по разработанным сценариям.

В первый допрос майор орал и матерился потому, что ему был указан этот прием. При неожиданном вари-

анте — ответный мат от интеллигентной и пожилой гражданки — растерялся.

Другой мой следователь поставил меня у стены. Требовал, чтобы я подписала протокол с несуществующими самообвинениями. Я отказалась.

Устав, не зная, что делать, подскочил, разъяренный, ко мне с кулаками:

— Изобью! Мерзавка! Сейчас изобью! Подписывай! Я посмотрела ему в глаза и сказала отдельно:

— Откушу нос!

Он всмотрелся, отскочил, застучал по столу кулаками. Чаще допрос был просто сидением: вводили в кабинет. «Садитесь», — говорил следователь, не подпуская близко к своему столу. «Расскажите о вашей антисоветской деятельности». — «Мне нечего рассказывать».

Следователь утыкался в бумаги, делал вид, что изучает, или просто читал газеты: примитивная игра на выдержку, на то, что заключенный волнуется. Без всякой психологии: по инструкции должен волноваться. А следователю засчитываются часы допроса. Раз я спросила:

— Вам сколько платят за время допросов? В двойном размере или больше?

— Это вас не касается! — заорал он. — Вы должны мне отвечать, а не задавать вопросы.

Другой раз, когда он читал, а я сидела, вошел второй следователь. Спросил его:

— Ты как? Идешь сдавать?

— Да вот спартанское государство еще пройти надо, тогда и пойду.

Я поняла, что он готовится к экзамену по Древней Греции.

— Спартанское государство? — спросила я мягко. — Хотите расскажу?

Он покосился, нахмурившись, а вошедший заинтересовался:

— Вы кто такая?

— Кандидат исторических наук.

— А ну, валяйте, рассказывайте! Мы проверим, насколько вы идеологически правильно мыслите.

Он сел. Оба явно обрадовались. Я дала им урок по истории Греции, и мы расстались дружески.

— Идите в камеру отдыхать, скоро ужин, — сказал мой следователь.

Спуск в лифте, переход коридорами под щелканье

стрелка, и я — в камере. Миски с перловой кашей уже стояли на столе, а на скамьях сидели женщины.

«Время и пространство, время и пространство...» — думала я, шагая по камере.

В начале девятнадцатого века Кант сформулировал их как координаты при постижении мира явлений. В начале двадцатого века Эйнштейн доказал в теоретической физике относительность этих координат, а Уэллс, забегая вперед художественным прозрением, подумал о машине времени.

Весь двадцатый век человечество разрешает задачу овладения пространством и временем, невероятно ускоряя передвижение по планете. И — лишает миллионы людей всякого пространства, заключая их в тюрьмы и лагеря. Это сдвигает у них координаты времени, время в тюрьме, как вода, утекает сквозь пальцы. Правильно ведь подметил Тынянов: Кюхля вышел из тюрьмы таким же молодым, как вошел. Он не заметил времени потому, что не имел пространства и пространственных впечатлений. Можно ли выйти таким же, как вошел, или, не выдержав, свихнуться... если не научишься мысленно передвигаться в пространстве, доводя мыслеобраз почти до реальности. Заниматься этим без ритма — тоже свихнешься. Помощником и водителем служит ритм.

Вспомнилось, как, лежа на койке в Крестах, я увидела Африку:

В ласковом свете
Платановой тени
Черные дети
Склонили колени
На пестрой циновке плетеной...

Так отчего же так странно знакомы эти вот черные дети, листья в платановом свете, красноватой земли пересохшие комья? Оттого, что я сумела нырнуть в себя, собрав и сосредоточив в образ все, что когда-то знала об Африке. И для себя довела этот образ до чувства реальности — выхода из камеры.

Я засмеялась своей власти над пространством. Подошла к женщинам, сидевшим в углу, как куры на насесте. «Хотите, прочту стихи?» — «Очень!» Я стала читать, попеременно свои и чужие.

В 37-м году, с драгоценным другом моим Верой Федо-

ровной Газе, мы восстановили в памяти и прочли камере «Русских женщин» Некрасова. Камера плакала вся.

В этот тур память моя ослабла — выпадали куски и не было второго, с кем восстанавливать их, но даже куски впитывала камера жадно, как воду засохшая земля. Впитывали и твердили стихи те, кто на воле никогда и не думал ни о стихе, ни о ритме. Каждый день просить стали: «Скажите нам что-нибудь!» Я «говорила» — и Блока, и Пушкина, и Некрасова, и Мандельштама, и Гумилева, и Тютчева. Лица светлели. Будто мокрой губкой сняли пыль с окна, прояснились глаза. Каждая думала уже не только о своем — о человеческом, общем. Я, наговорив, вставала и начинала бродить по камере, отдаваясь ритму. Выбормывала:

Если музу видит узник —
Не замкнуть его замками.
Сквозь замки проходят музы,
Смотрят светлыми очами...

Недаром знали шаманы, что ритм дает власть над духами, овладевший ритмом в магическом танце становился шаманом, то есть посредником между духами и людьми, не овладевший — кувырком летел в безумие, становился «менереком», как называли якуты: впадал в душевное заболевание. Стих, как шаманский бубен, уводит человека в просторы Седьмого Неба...

Такие мысли, совершенно отрешавшие от происходящего, давали мне чувство свободы, чувство насмешливой независимости от следователя.

Был уже третий следователь у меня, и с ним я поссорилась. Отказалась подписать протокол, им написанный и полный чудовищных обвинений, которые я должна была признать. Следователь перевел меня в карцер. Карцер, или «бокс», как его называли тюремщики, — низкая каменная коробка без окна. У стены вделана деревянная полка покорооче среднего человеческого роста, на которой с трудом можно улечься. У противоположной стены — маленькая железная полочка, служащая столом. Расстояние между ними такое, чтобы мог встать или сесть человек. Это — ширина бокса. Протянув руку, достанешь до железной двери с глазком и окошечком. Вентиляции нет. Смысл бокса в том, что очень скоро человек, выдышав весь кислород, начинает задыхаться. В железной двери, у пола, есть маленькие дырочки; но сесть на пол, чтобы глотать

идуший воздух, не позволяют. Открывается глазок двери, голос говорит: «Встаньте!»

Пленник начинает задыхаться. Дежурный заглядывает в глазок примерно каждые полчаса. Когда видит, что у заключенного совсем мутится сознание, он открывает дверь и говорит: «В туалет!»

С радостью бросается заключенный. Пока он идет до уборной и находится там — он дышит. Светлеет в глазах, яснее сознание. Дверь бокса остается открытой, воздух входит туда. Его хватает примерно на два часа. После этого опять начинается задыхание. В уборную водят три раза в день. После отбоя полагается лечь на полку-топчан. Если человек лежит — дежурный не может из глазка уследить, спит он или задохнулся. Поэтому после отбоя пускают вентиляцию... С подъемом опять начинается кислородное голодание. Но удушить совсем во время следствия нельзя, поэтому голодание дыхания регулирует надзор часового.

Выход из помутнения сознания можно найти — нырнув в образы, уводящие к ясным и ярким ощущениям простора, и претворяя в ритм эти образы.

Я постаралась уйти в свою юность на Севере. Вспомнила, доводя до предельной яркости воспоминания, поплыла по великой и светлой Северной Двине. И постаралась ритмизировать увиденное:

Широка прозрачность неба,
Отраженная в светлой реке.
Что тебе надо от жизни — потребуй!
И в детском сожми кулаке...

Можно, можно в самой глубокой каменной коробке научить себя слышать плеск воды, видеть ее серебристое сияние и не замечать, что ты заперта, что до неба и воздуха телу не достигнуть. Есть особая радость в чувстве освобождения твоей воли от пленного тела, в твоей власти над сознанием. Кажется — вольный ветер проходит сквозь голову, перекликаясь через тысячелетия со всеми запертыми сестрами и братьями. И мы все, запертые, поддерживаем друг друга в чувстве свободы... Я нашла себе оборону не только от задыхания в карцере, но от наступления на меня всего, что не вмещало сознание... Это превращалось в поэму в течение пяти лет. Не знаю, стало ли это поэмой в «литературно значительном» смысле. Но

это — памятник моей внутренней свободы, это — прием к неуязвимости души.

Но возвратимся в карцер. Я сидела двое суток, и было не ясно, сколько еще сидеть: следователь сказал, что пока не соглашусь подписать протокол. Не допускала мысли о подписи под нелепыми обвинениями. Однако я сорвалась, как говорят в лагерях, «запсиховала» — решила объявить голодовку. В 1937, по окончании следствия, я голодала семь дней, требуя снятия одиночной камеры и свидания с матерью. Грозили новым сроком, орали, но на восьмой день уступили, выполнив и то и другое. Я помнила, что голодовка — тоже взлет в иное сознание, чувство власти над своим телом — освобождение от давящей безвпечатляемости, которая угнетала в тюрьме. Но приступать к голодовке надо с собранной волей и твердым знанием, чего хочешь добиться.

А теперь у меня не было этого. Была мусть в голове от удушья — кислорода-то не хватало, даже образы простора помогать перестали.

В тот же день, когда я отказалась принимать пищу, меня повели в санитарный пункт. Посадили на стул, скрутили назад и связали руки. «Будем кормить искусственно. Вставьте расширитель», — наклоняясь сказал врач. Я не сопротивлялась, да это и было немисливо. Железный расширитель лязгнул по зубам, рот раскрыли и ввели мне кишку. «Питательный раствор?» — спросила сестра (при длительных голодовках, когда начинали кормить искусственно, вливали питательный раствор — масло и яйцо, взбитые на молоке). «Чего там, просто литр супу», — ответил врач.

Сестра молча стала лить через воронку красноватую жидкость.

Голова у меня была запрокинута, рот разжат расширителем, жидкость, переливаясь через воронку, попала в дыхательное горло. Я потеряла сознание.

Очнулась в боксе, лежащей на топчане. Дверь была широко раскрыта, человек в белом халате делал мне какую-то инъекцию. Я заснула... Когда очнулась, тело болело, сознание не было вполне ясным, но дышать было можно — значит, ночь?

В двери откинули окошко, образуя подоконник. Положили пайку хлеба. «Принимаете пищу?» — спросил голос. Я молча протянула руку и взяла пайку. На поднос поставили кружку с кипятком. Значит — утро. Скоро я

ощутила его и потому, что воздух перестал поступать.

Бороться дальше? Можно бороться, можно пойти и на любое искусственное питание при нормальном дыхании. Без кислорода воля слабеет. Просто задушат, как крысу, подумала я.

Есть не могла — болело оцарапанное горло, но в обед выплеснула суп под топчан, а не возвратила обратно. Они сломили меня...

Дальше — провал в памяти, полузабытье. Вызвали через какое-то время к следователю, идти отказалась, пока не переведут в камеру.

Еще какое-то время ушло. Потом перевели в камеру и сразу вызвали оттуда к новому следователю. О подписании прошлого протокола вопрос отпал.

В камере мне сказали: прошло четверо суток. Они волновались за меня.

Сейчас, зимой 1963 года время идет у меня в высоких и светлых залах Публичной библиотеки. В хранилище книг чувствую всеми порами, как в обе стороны раскинуты залы, где в удобных креслах склонились над столами сотни людей. Дышит ровное тепло. Каждый склоненный занят своим делом, думает и пишет свои мысли, разнообразные — в разные стороны человеческого познания направленные. Он опирает их на это хранилище. Тихим движением может взять с полки книгу или выписать ее из глубин. Она придет из неисчислимого моря книг, и ты будешь беседовать с автором. Движение пера — ты включаешь в свой мозг многолетнюю работу многих. Как огромный беззвучный орган, как силовая станция токов высокого напряжения, дышит работа склоненных голов, опирающаяся на огромное здание мыслей прошлого человечества.

И я думаю: сколько из них, сидящих здесь, привычно живущих в накоплениях человеческих знаний, было, как я, обречено на отсутствие книг и бумаги? На необходимость опираться лишь на собственную память, думать — только про себя? В полной отрешенности от привычных контактов мысли. Мы в лагерях были, как доски после кораблекрушения. Единственный сигнал, который могли оставлять, — стихи...

Я встаю от стола. Выхожу из беззвучного зала.

В зале каталога встречаю собеседников. Мы говорим

о Солженицыне,— все думают и говорят о нем, это обязательный привкус дня.

— Анна Андреевна Ахматова, говорят, сказала — необходимо, чтобы его прочитали все двести с лишним миллионов,— сообщает мой собеседник.

— Самая большая удача Солженицына, что он сумел показать день лагеря глазами простого русского солдата,— говорит другой.

— Это удача,— подтверждает третий,— но еще важнее, что он показал, кем был до лагерей «кавторанг», что за люди были брошены в эти условия... Людей, руководящих армиями, предприятиями, организациями, тех, которые умели и должны были стоять во главе больших дел, превратили в рабочую скотину... Их трагедия глубже и значительнее, чем трагедия простого человека...

Собеседники знают, что я пишу о лагерях. Они сами испытали лагеря. «Надо показать, кого лишили страну!» — повторяют они. Я не стану спорить. Но мне надо показать не это. Мне хочется показать, что делается с сознанием разных людей, когда они лишены права распоряжаться своим телом. Тело — имущество государства, вещь, которой распоряжается безличная сила. Это не рабство, принадлежность хозяину — с хозяином неизбежно создавались взаимоотношения: его ненавидели или любили, с ним боролись, ему льстили, у него просили пощады. Это был живой человек и тем самым уже не всесильная стихия. Слепой машиной были порабощены рабы в Египте. Но они большей частью были иноплеменники, могли мечтать о родине. У нас большая часть заключенных была не из чужой страны. Иностранцам — их также собрали в лагере со всех концов мира, начиная Германией и кончая Японией и Кореей,— легче: они военнопленные. Но у людей, которых захватила петля в родной стране, создавались ощущения гонимого на убой стада.

После лагерей как хорошо я стала понимать, как глубоко сочувствовать животным! У нас, как у них, была полная беспомощность перед слепой и всемогущей силой.

Пастух гонит стадо. Он не интересуется, какая овца пойдет на убой, какую оставят на племя. Вовсе не надо быть злым человеком, чтобы гнать скот на бойню. Надо просто верить, что они ничего не переживают подобного тебе, они — другие. Такую же веру развивали у конвоя по отношению к заключенным. Устав диктовал: не разговаривать с заключенными. На них вешали номера, чтобы

не было имени. Конвоиров полагалось долго не держать на одном лагпункте, переводить, чтобы — в нарушение устава — не возникли нотки человеческих отношений.

Пребывание подъяремным животным дало мне великую жалость ко всем подъяремным, закованным, на цепи посаженным существам. Я убедилась: выражение глаз, поведение отданного в безраздельную власть существа почти не отличается у человека и у четвероногого. Много лет я работала с лошадьми, была возчиком. Знаю, как сопротивляются и как покоряются животные. В поведении табуна лошадей, стада коров и человеческого стада нет большой разницы.

Это требует не презрения к людям, а уважения к животным. Мы не видим их страданий и мысли только потому, что не хотим замечать. Существует теснейшая связь между беспощадной жестокостью к животным и существованием лагерей, где сидят миллионы людей. Эта связь — атрофия сочувствования существам, которых рассматривают, как отличных от себя.

Когда-то любили — своего ребенка, своего друга, своего родителя, своего коня, собаку, корову. Любили индивидуальное существо. «Родина», «Племя» были таким же видимым глазу существом. Государство стало первой абстракцией, которую надлежало любить. И абстракция принесла несчастье человечеству: она превратила любовь сочувствования в подчинение и преклонение.

Раскололась родовая связь. Человек отдал себя в подчинение абстракции. Абстракцией стал для него и мир живых существ, которых он не признает себе подобными.

Великий борец с насилием Лев Николаевич Толстой понял яд государственной машины и сделал коня — Холстомера — живым существом, протестующим быть вещью и собственностью.

Нас сделали вещью...

Мне бы хотелось показать, как складывается сознание, как человек-вещь ищет пути освободить себя от страданий тела, которое превращено в чужую собственность.

Фотография

не
найдена

**Самуил
Маркович
ГЛЕЗЕЛЬ**

1910—1937

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Глезель (Глес) Самуил Маркович, 1910 года рождения, уроженец м. Шанов, Польша, еврей, гражданин СССР, беспартийный, писатель (немецкий), проживал: Ленинград, Детская ул., дом 3, кв. 100

жена — Вельниц Елизавета Павловна, 36 лет, преподаватель Педагогического института им. Герцена
сын — Глезель Алексей, 2 года (в 1937 году)

Арестован 3 сентября 1937 года Управлением НКВД по Ленинградской области. Обвинялся по ст. 58-10 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда), 58-11 (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления).

Постановлением Комиссии НКВД и Прокурора СССР от 29 сентября 1937 года определена высшая мера наказания.

Расстрелян 5 ноября 1937 года в Ленинграде.

Определением Военного Трибунала Ленинградского Военного округа от 30 октября 1957 года постановление Комиссии НКВД и Прокурора СССР от 29 октября 1937 года в отношении Глезель (Глес) С. М. отменено, и дело за отсутствием в его действиях состава преступления прекращено.

Глезель (Глес) С. М. по данному делу реабилитирован.



**Татьяна
Григорьевна
ГНЕДИЧ**

1907—1976

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Гнедич Татьяна Григорьевна, 1907 года рождения, уроженка м. Куземен, Зеньковского уезда, Полтавской губернии, русская, гражданка СССР, беспартийная, писатель-переводчик, проживала: Ленинград, ул. Садовая, дом 63, кв. 16.

Арестована 27 декабря 1944 года Управлением НКВД по Ленинградской области и Ленинграду. Обвинялась по ст. 19—58-1а УК РСФСР (покушение на измену Родине), 58-10 (антисоветская агитация и пропаганда), 58-11 (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления).

Приговором Военного Трибунала войск НКВД от 26 февраля 1946 года определено: Гнедич Т. Г. лишить свободы в исправительно-трудовых лагерях сроком на 10 лет с последующим поражением в правах сроком на 5 лет.

Определением Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 23 июня 1956 года приговор Военного Трибунала войск НКВД Ленинградского округа от 26 февраля 1946 года в отношении Гнедич Т. Г. отменен, и дело прекращено за отсутствием в ее действиях состава преступления.

Из материалов дела

Гнедич Т. Г. в Ленинград приехала в 1926 году. В 1930 году поступила на филологический факультет ЛГУ.

Одновременно работала машинисткой в Госбанке и после 1932 года литературным консультантом в Ленинградском издательстве художественной литературы.

По окончании ЛГУ (в 1934 году) преподавала английский язык и читала лекции по истории английской литературы в Восточном институте, в 1-м и 2-м Педагогических институтах, а также работала над стихотворными переводами в секции переводчиков при СП.

С 1937 по 1941 год — аспирант ЛГУ.

Всю блокаду прожила в Ленинграде.

С 8 августа 1942 года по 8 марта 1943 года работала переводчиком в Красной Армии.

С 8 марта 1943 года — корректор в журнале «Пропаганда и агитация».

ПОДВИГ

В конце 1957 года я, тогда еще совсем молодой, начинающий поэт-переводчик, пришла в Дом писателя на секцию художественного перевода, где в тот день состоялся творческий вечер Татьяны Григорьевны Гнедич. Мне уже приходилось слышать это имя. Незадолго до того, в доме у Ефима Григорьевича Эткинда мне как-то очень торжественно протянули несколько листков и со значением сказали:

— А это кусок из «Дон-Жуана» в переводе Гнедич!

Тогда я ничего не поняла. Дон-Жуанов, как известно, в западной литературе много. А Н. И. Гнедич, современник Пушкина, вроде бы ни одного из них не переводил.

Нашли его неизвестный перевод? Ефим Григорьевич по моей реакции понял, что я не в курсе, и сердито усадил меня читать рукописный отрывок. «Дон-Жуан» оказался байроновским.

— Ефим Григорьевич! — воскликнула я. — Да ведь это же можно читать! «Вот стихи, а все понятно, все на русском языке!» Словно и в самом деле Байрон по-русски заговорил!

— Эта книга скоро выйдет, — обрадовал он меня.

И вот сижу в Красной гостиной на творческом вечере Т. Г. Гнедич, автора того перевода. Признаться, я была разочарована. Одетая Татьяна Григорьевна была по-старушечьи, в темное. Смущенно, близоруко щурилась, говорила неуверенным голосом, да еще «с малороссийским» акцентом. (Впоследствии Т. Г. говорила, что это язык ее детства — она выросла в Полтавской губернии, и акцент проявлялся у нее в минуты сильного волнения.) Было заметно, что ей не очень-то уютно быть в центре всеобщего внимания. Но вот она придвинула к себе листки рукописи, начала читать, голос сделался таким же язвительным, изящным, величественным, как ее октавы. В эти минуты она была очень похожа на карандашный портрет, который сделал с нее Н. П. Акимов.

После 1955—1956 годов в нашей жизни зазвучало слово «реабилитированные», — люди, которые когда-то были невинно осуждены, однако я не представляла себе масштабов и значения этих событий. Да, в Союзе писателей появилось много пожилых, седых, по виду много переживших, но мне это не было особенно заметно, потому что я в те годы только начинала ходить на собрания секций и понятия не имела, что совсем недавно этих людей тут не было. Не сразу я поняла, что и Татьяна Григорьевна Гнедич — из этих же людей. Пока только я осознала, что Т. Г. — пожилой и больной человек. Она жила в Пушкине и сначала беспокоилась, как будет возвращаться домой одна после занятий семинара английской поэзии, но выход скоро нашелся. Раз в месяц мы сами приезжали к ней в Пушкин и проводили занятия у нее дома, а второй раз ее провожал наш товарищ Володя Васильев, который тоже, по счастью, жил в Пушкине. Многое удивляло, когда мы бывали у нее в Пушкине. Обстановка в комнате, которую она занимала в коммунальной квартире на Московской улице, была почти антикварной: огромные напольные часы старинной работы, небольшой круглый стол,

вокруг которого мы усаживались на высоких старинных стульях с кожаными сиденьями и резными спинками. Стол был вечно завален книгами, бумагами, словарями, но мы каким-то образом умудрялись раскладывать на нем свои рукописи, подлежащие обсуждению. Тетушка Татьяна Григорьевна Анастасия Дмитриевна во время наших занятий сидела тут же в комнате: просто ей некуда больше было деваться. Во время обсуждений Татьяна Григорьевна часто апеллировала к ее мнению — как скоро стало понятно, из чистой вежливости. И был у Татьяны Григорьевны еще один член семьи — ее муж Георгий Павлович, который оказался... простым электромонтером. Долго мы не могли понять, что же связывает воедино это «сборное» семейство. Да позднее еще появился высокий красивый подросток — Анатолий, которого Татьяна Григорьевна называла своим сыном. Правда, потом ей дали еще одну комнату в той же квартире, но места все равно было мало: кроме людей, там еще жили кошка (часто с котятами) и огромный волкодав «Чалый». Уживались все не без труда, всех объединяла сама хозяйка.

Мы бывали в этой комнате не только на общих занятиях. Татьяна Григорьевна охотно приглашала нас на индивидуальные консультации, когда кто-то из нас испытывал потребность поделиться своими переводами или стихами. Постепенно мы все становились не только учениками, но и друзьями ее. Она всегда была готова поддержать любого из нас в трудную минуту. Потом, уже в конце 60-х годов, когда наш семинар перестал собираться, а Татьяна Григорьевна набрала более молодых учеников, мы всегда были желанными гостями в ее доме, который перебазировался на улицу Васенко, там ей дали квартиру из трех комнат. И вот тогда постепенно узнавалась мне биография Татьяны Григорьевны Гнедич, и я не уставала удивляться этой необыкновенной, светлой и мудрой личности.

Татьяна Григорьевна Гнедич родилась 18 января 1907 года на Полтавщине. Она принадлежала к древнему дворянскому роду, из которого вышел и современник Пушкина, переводчик «Илиады» Гомера Н. И. Гнедич, из той же семьи был искусствовед и автор «Истории искусств» П. П. Гнедич.

Уже после революции студентку ЛИФЛИ Татьяну Гнедич чуть не исключили за то, что она «скрыла свое дворянское происхождение». Она сказала:

— Помилуйте, да как же это Гнедичи могут скрыть дворянское происхождение?

И тогда ее захотели исключить за то, что она кичится таким происхождением. К счастью, обошлось...

Отец ее был преподавателем английского языка и инспектором народных училищ.

— Он занимал ту же должность, что и отец В. И. Ленина,— говорила об этом Татьяна Григорьевна.

И за это ей тоже досталось на одной из «чисток» в университете:

— Как вы можете сравнивать!

Родилась она слабой, болезненной, с врожденным пороком сердца. Часто я от нее слышала:

— Когда я была маленькая, мне постоянно говорили: «Танечка, не беги за мячиком: ты умрешь». А когда арестовали, никто не говорил: «Танечка, не ходи в этап: ты умрешь!» «Танечка, не спи в камере на сыром каменном полу: ты умрешь!» Ничего, обошлось...

Девочка увлекалась стихами, рисованием, иностранными языками. Английскому ее учил отец, французскому — мать. Перед самой революцией семья переехала в Одессу. В 1920 году отец ушел из дому обменивать вещи на продукты — и не вернулся; никто так и не узнал, что с ним случилось. С 13 лет, чтобы помочь матери, давала уроки английского. Позже они стали добиваться разрешения выехать в Петроград. Помог Г. М. Кржижановский: он вспомнил, что до революции отец Татьяны Григорьевны прятал у себя социал-демократов, которые скрывались от полиции. В Петрограде Татьяна Григорьевна поступила в ЛИФЛИ. По возрасту она была старше большинства однокурсников, да и выглядела старше своего возраста. В 1939 году она поступила в аспирантуру. Одновременно работала — преподавала английский в 1-м Институте иностранных языков.

Началась война. В июле 1942 года Т. Г. Гнедич была мобилизована на должность переводчика в спецредакцию 7-го отделения политуправления Ленинградского фронта. Но немецкий она знала пассивно, поэтому скоро ее перевели в разведуправление Балтфлота, где она смогла принести большую пользу своим знанием английского. Тогда же Гнедич стала переводить на английский стихи ленинградских поэтов, чтобы познакомить наших союзников с русской поэзией: то были стихи А. Прокофьева, В. Инбер, А. Ахматовой. Ей дали консультанта — англичанина,

бывшего матроса королевского британского флота по фамилии Уинкот, он жил в Ленинграде еще до войны. Вот дружба с этим Уинкотом и послужила главной причиной последующих неприятностей. Уинкот часто говорил:

— Ну, Татьяна Григорьевна, кончится война, я вас пригласу и вы поедете ко мне в Лондон.

Ей очень хотелось поехать — и она с кем-то поделилась такой перспективой. К Татьяне Григорьевне в гости стала приходиться какая-то странная женщина, которая ее обо всем выспрашивала — это была провокаторша. Гнедич об этом догадывалась, но это не помешало ей начать ходить в Большой дом и наводить справки о своем знакомом, немце по национальности, который исчез в начале войны. Дело в том, что Гнедич чувствовала себя очень одинокой, во время блокады умерла ее мать. К 1944 году Гнедич демобилизовали, она начала работать в пединституте им. А. И. Герцена на факультете иностранных языков. Чувствовалось, что война идет к концу. Ко многим стали возвращаться с фронта раненые мужья, братья. А Гнедич по-прежнему оставалась совсем одна. Она продолжала ходить в Большой дом и спрашивать, куда делся некий Аксель Витберг, жив ли он. Молоденький красноармеец сочувственно предупреждал (с «малороссийским» акцентом):

— Та кто ж он вам, цей Витберг? Друг чи муж? Не ходите вы лучше сюда! Себе хуже сделаете!

А она не могла не ходить...

В один из зимних вечеров Гнедич должна была встретиться с Уинкотом, чтобы вместе ехать в командировку в Москву. Уинкот ждал долго.

— Где же эта Гнедич? Что за фокусы? — недоумевал он.

А Татьяна Григорьевна между тем была тоже на вокзале. Как только она приехала, к ней подошел милиционер:

— Вы Гнедич? Пройдемте со мной, будет проверка документов.

— У всех? — недоверчиво спросила она.

— У всех.

Ее провели в большое пустое помещение, велели сесть и ждать. Милиционер тоже сел. Время бежало.

— Скоро ли? — заволновалась Татьяна Григорьевна. — Поезд уйдет!

— Скоро, скоро.

Милиционер быстренько куда-то позвонил:

— Ну, давайте быстрее, она уже беспокоится.

И тут Татьяна Григорьевна все поняла. «Господи,— подумала с облегчением,— так вот это что! Ну, слава богу, наконец-то!»

А Уинкота арестовали сразу по приезде в Москву.

Сначала Гнедич сидела в одиночке во внутренней тюрьме НКВД на ул. Воинова, в так называемой «Шпалерке». Однажды среди заключенных прошел слух, что одна женщина в тюрьме умерла, ее родные просили выдать им тело, чтобы похоронить по-человечески. Им в этом отказали, похоронили умершую прямо на огромном тюремном дворе, не отметив даже холмиком. И тогда Татьяна Григорьевна дала себе слово: ни за что не умру здесь. Выдержу все, но не доставлю палачам такого удовольствия.

Когда Гнедич вызывали к следователю на допросы, она отказывалась отвечать ему. Следователь добивался признания в том, что она собирала шпионские сведения. Она отвечала:

— Да, для вас.

Еще она говорила:

— Вы и подобные вам давно растоптали все ленинские заветы.

Держали Гнедич по-прежнему в одиночке. Чтобы скрасить долгие часы в камере, она стала вспоминать те две песни байроновского «Дон Жуана», которые знала наизусть.

Татьяне Григорьевне дали нового следователя. Он сумел найти с непокорной заключенной контакт. Дал ей листок протокола допроса, чтобы она заполнила в камере. А в камере Татьяна Григорьевна заметила, что вместо одного листочка он по ошибке дал ей целых два. На одном из них бисерным почерком записала около тысячи стихотворных строк перевода. Может быть, удастся сохранить их. Не раз я потом видела этот многострадальный листок — прочесть стихи можно было только с помощью сильной лупы, но записаны они были четко. Гнедич показывала листок только из своих рук, не разрешая до него дотронуться — берегла...

Следователь хватился «лишнего» листка и потребовал его вернуть: все выдается ему под отчет. Гнедич объяснила, что не может вернуть, так как листок у нее использован.

— Для чего?

Пришлось сознаваться. Следователь неожиданно заинтересовался и выразил желание прочесть стихи.

— Что вам нужно для продолжения работы? — спросил он, прочтя.

— Письменные принадлежности, роман Байрона и англо-русский словарь, — был ответ.

— Все это будет вам предоставлено. По мере работы отдавайте листки мне. Когда вас отправят на высылку, я отдам вам весь пакет и на нем напишу: «Не отбирать и не читать».

И жизнь Татьяны Григорьевны в одиночной камере наполнилась смыслом — да каким! Не раз она вспоминала впоследствии:

— Вряд ли я имела бы возможность сделать этот перевод, если бы мне не предоставили такой великолепной возможности остаться наедине с моим дорогим Джорджем Гордоном на целых два года!

Вероятно, в одиночестве, в тесной камере, у Гнедич возникло то интимное ощущение личной близости к великому английскому поэту, о котором она потом говорила всю жизнь и которое выразилось в стихотворении, написанном в те дни:

Гордон мой дорогой! Я счастлива, смотри,
Ты послан мне самой судьбою.
Ни злые палачи, ни глупые псари
Не разлучат меня с тобою.

Как больно, тяжело и холодно. Устав
От вероломства и коварства,
Я пью, мой милый друг, вино твоих октав,
Как чудотворное лекарство.

Нам будет хорошо с Кипридою втроем
На новоселье этом странном.
Целуй меня, мой друг! Мы сына назовем
Назлом уродам — Дон-Жуаном!

После одиночного заключения Татьяну Григорьевну перевели в лагерь под Бокситогорском. Очевидно, во время этапа в лагерь случился эпизод, о котором она вспомнила незадолго до смерти. Она сидела у себя в комнате больная, с опухшими ногами. Я приехала ее навестить. Мы пили чай на табуретке, придвинутой к ее креслу. Пес Чалый, расхаживая по комнате и размахивая хвостом, сбил пустую чашку и та разбилась. Татьяна Григорьевна непроизвольно вздрогнула, а ее приемный сын Толя,

который не больно-то с нею церемонился, насмешливо заметил:

— Подумаешь, чашка разбилась!

Спокойно и сосредоточенно, обращаясь только ко мне, она начала рассказывать:

— Однажды нас гнали этапом. К вечеру привели в здание бывшей казармы на ночевку. Там был холодный бетонный пол. Нас заставили раздеться до рубашек и целый час приказывали стоять неподвижно на голом полу босиком. Через час велели снова одеваться. Я ведь тогда весь этот час не шелохнулась даже. Скажите, Галочка, после того, как такое выдержала, имею я право вздрогнуть, если разобьется чашка?

В Бокситогорском лагере Т. Г. Гнедич встретилась с Руфью Александровной Зерновой, арестованной позже. Они были знакомы по университету. Слухи о переводе «Дон-Жуана» Гнедич просочились на волю. Еще до ареста Зернова слышала историю «тюремного» перевода, который был послан на отзыв к профессору А. А. Смирнову. Отзыв был: гениально! Хотя на похвалы А. А. Смирнов был весьма скуп. Все поверили, что гениальный перевод будет основанием к освобождению — во всяком случае, к смягчению участи. Но тогда еще не было известно, что грянет 1949 — Р. А. Зернова была арестована. Она встретила Т. Г. Гнедич в пересыльной тюрьме и спросила, как же ее перевод, неужели не помог? Та только рукой махнула.

В лагере Т. Г. Гнедич из-за порока сердца не работала на лесоповале. Она не попала даже в пошивочную мастерскую, где инвалиды-заключенные шили рукавицы, а оказалась в группе самых слабых, занятых только уборкой помещения, немощных старух. Когда заключенные возвращались в бараки после работы, уборщицы старались не попадаться никому на глаза. Но Татьяна Григорьевна часто читала по вечерам стихи — она многое помнила наизусть. Все собирались вокруг нее. Потом она стала руководить самодеятельностью заключенных. Искусство скрашивало лагерную действительность, помогало людям выживать, доставляло минуты радости. В деятельности этого рода сказывался педагогический талант Т. Г. Гнедич.

Вот на подготовке этих лагерных спектаклей она и познакомилась с членами своей будущей семьи — пожилой Анастасией Дмитриевной, которую впоследствии называла тетушкой, и с Георгием Павловичем, ставшим ее мужем,

что после реабилитации немало шокировало многих знакомых.

— А что мне было делать? — говорила она потом мне.— Я ведь не знала, что предстоит полная реабилитация, освобождение. Я думала, в ссылку куда-то придется поехать. А со старичком-то все легче, чем совсем одной. А Егорушка любил меня, да и я его.

Да, семья производила странное впечатление со стороны. Властная крутая Анастасия Дмитриевна не жаловала Георгия, который любил выпить. Избалованный Анатолий терпеть не мог их обоих. Но Татьяна Григорьевна не только объединяла эту разношерстную компанию, она незаметно и неназойливо ею управляла — и радовалась, что не осталась под старость одна.

Однажды в квартире Т. Г. Гнедич раздался телефонный звонок:

— Могу я попросить Татьяну Григорьевну Гнедич? — спросил мужской голос.

— Да, я вас слушаю.

— Это Николай Павлович Акимов. Вам что-нибудь говорит мое имя?

Разумеется, это имя говорило ей очень многое: еще до войны Гнедич видела все основные спектакли Театра комедии.

— Как вы думаете, зачем я вам звоню? — спросил Акимов.

— Неужели... быть может — неужели вы хотите поставить комедию Грильпарцера, которую я недавно перевела?

Ей, конечно, сразу показалось такое предположение невероятным, пьеса не больно-то интересная, а других она никогда не переводила.

— Нет, не Грильпарцера,— был ответ. Акимов назвал «Дон-Жуана».

— А что вы удивляетесь? — спросил он.— «Дон-Жуан» просто создан для сценической постановки. С одной стороны, там есть динамичное действие. С другой — блестящие диалоги. И с третьей — лирические отступления, яркие философские и политические высказывания, которые будут произносить чтецы.

Спектакль получился по-акимовски блестящий, яркий, остроумный. «Дон-Жуан» как бы получил на сцене вторую жизнь. В нем играли лучшие актеры театра: Юнгер, Воропаев, Уварова, Колесов, Зарубина, Милиндер. Но еще

радостней для Т. Г. Гнедич оказалась дружба с этими актерами и, главное, с самим Н. П. Акимовым. Она часто ездила в театр во время подготовки спектакля, специально написала к нему пролог и эпилог в великолепных октавах, часто бывала на репетициях. Когда в 1964 году вышло второе, исправленное издание «Дон-Жуана» в Худлите, Т. Г. Гнедич подарила по книге всем актерам, участвовавшим в спектакле, и каждому написала на память по октаве, а кому и больше. Вот, например, октавы, посвященные Николаю Павловичу Акимову:

Ах! Я пристрастна к имени «Акимов»,
Мне с юности был дорог этот звук.
В нем озорство ума неукротимо,
В нем хитрая крылатость, милый друг!
На жизненном балу неутомимо
Вальсируя, чертя за кругом круг,
Он появляется, держа за талию
Злодейку-чародейку музу Талию.

Все они оказались единомышленниками: и Байрон, и Н. П. Акимов, и Т. Г. Гнедич. Их дружба продолжалась до самой смерти Акимова и принесла обоим немало радости. Однажды Гнедич с гордостью показала карандашный портрет, сделанный Акимовым. Есть еще портрет, выполненный маслом, он висит в музее Театра комедии. Тот мягче, величественней. Когда случается бывать в этом театре, я непременно захожу в музей, стою у этого портрета и вспоминаю еще третий облик оригинала, домашний: в темном старушечьем платье, с близоруким прищуром, светлые волосы сзади сколоты шпильками в узел. Часто, бывало, звонишь ей, а она отвечает таким слабым усталым голосом, что сердце сжимается:

— Татьяна Григорьевна, вы больны?

— Да, я что-то неважно себя чувствую,— отвечает она.— А что вы хотели?

— Да нет, ничего,— говоришь смущенно.— Поправляйтесь.

— Ну, уж коли позвонили, так вам, верно, что-то нужно? Вы, наверно, хотели приехать?

— Да, хотела, но раз вы больны...

— Нет, вы все-таки приезжайте.

— Но вы плохо себя чувствуете!

— Это неважно. Пока доедете до Пушкина, я приму

лекарство, полежу, мне и станет полегче. Почитаете мне, что там у вас.

Она встречала меня слабая, с утомленным лицом, с черными кругами под глазами, слегка опухшая, проводила по заставленному книгами коридору в комнату, мы садились на знакомые стулья с высокими спинками и раскладывали на столе рукописи, а со стены из резных деревянных рамок на нас мудро смотрели Пушкин и Байрон. Постепенно, по мере разговора, лицо Татьяны Григорьевны разглаживалось, глаза уже не смотрели так страдальчески, черные тени под глазами бледнели, она оживлялась, щеки принимали естественный цвет.

— А знаете,— говорила она,— как хорошо, что вы приехали! Вот я с вами и отошла.

Когда я уходила, она провожала меня до самого порога и обязательно целовала в лоб.

Самое главное для нее было — бескорыстное, чистое служение поэтическому искусству. Это качество она и старалась воспитывать в учениках. Она была прямо-таки создана, чтобы помогать молодым поэтам и переводчикам. При любой неудаче мы всегда звонили ей — и она полностью вникала в наши дела. Многие ли знают, что незадолго до смерти Т. Г. Гнедич писала предисловие к сборнику молодого поэта Виктора Ширали?

Как только Татьяна Григорьевна вернулась к нормальной жизни, она стала пытаться издать сборник собственных стихов. Много лет ничего с этим не получалось, издательства не хотели работать с ней. В алма-атинском журнале «Простор» нашелся человек, который решил опубликовать стихи Т. Г. Гнедич. В 60-е годы там были напечатаны два ее венка сонетов. Наконец, с Гнедич заключил договор Лениздат. Но один из сонетов венка «Поэту», посвященный Николаю Гумилеву, в те годы публиковать боялись; имя Гумилева еще не стало официально разрешенным. Пришлось сонет переделать, чтоб не пропал весь венок, сонет стал безликим, гораздо менее выразительным. Но Т. Г. Гнедич даже этого варианта книжки «Этюды и сонеты» не увидела своими глазами: он вышел через два месяца после ее смерти. Корректуру, правда, она успела подписать.

Весной 1976 года Татьяна Григорьевна уже была очень больна. Целыми днями она сидела у себя в комнате в кресле, отекавшие ноги были забинтованы, ухаживал за ней муж. До того она долго лежала в больнице. В на-

чале мая я поехала навестить ее. Из окна электрички я смотрела на обрезанные уродцы-деревца, насаженные вдоль линии, листья на них еще не распустились, и они производили тяжелое впечатление. Всю дорогу я думала о Татьяне Григорьевне. Я везла книгу «Дон-Жуан» издания 1964 года.

Разные у нас в тот раз были разговоры. Гнедич вспоминала об этапе, о больнице. Говорили о Байроне, о стихах. О моих дочерях. Время от времени она постанывала: так болели отекавшие ноги.

— Вы можете представить, какая это боль, если даже я не могу ее терпеть?

Вспомнили наш старый семинар. Гнедич сказала:

— Никогда после мне не удавалось собрать такой семинар, как ваш.

Наконец я решилась подsunуть ей книгу на подпись.

На книге она написала: «Моей дорогой Гале Усовой в память нашего милого семинара 50-х годов по поручению Байрона. Т. Гнедич». Я часто теперь перечитываю эту простую надпись, сделанную изменившимся перед смертью почерком, и думаю — как часто мы пытаемся непременно изобрести что-то изысканно-оригинальное, недооценивая смысла обыкновенных человеческих слов...

При моей попытке встать Татьяна Григорьевна жалобно сказала:

— Мы еще совсем не поговорили, куда же вы?

Я осталась. А она на полуслове вдруг уронила голову на грудь и уснула прямо в кресле. Я растерялась, но через минуту она проснулась так же неожиданно, как и уснула, и спросила, глядя сквозь меня непонимающе:

— А где же Галя Усова? Она что, уже ушла?

Я испугалась, но она уже пришла в себя. На этот раз перед уходом я наклонилась и сама поцеловала ее в лоб, как раньше обычно делала она. И эта перемена между нами ударила в самое сердце. Я долго шла пешком на вокзал с «Дон-Жуаном» под мышкой, а в ушах звучал ее беспомощный голос:

— А где же Галя Усова? Она что, уже ушла?

Это была последняя наша встреча. Правда, мы еще много раз говорили по телефону...

Татьяна Григорьевна Гнедич умерла 7 ноября 1976 года. Похороны в г. Пушкине были необычайно многолюдны, особенно много было молодежи, ее учеников. Говорили проникновенные речи, читали стихи. Никак не могли

остановиться, даже когда приехали на кладбище, снова сняли крышку с гроба и продолжали прощание. Наконец, начали закрывать — и вдруг какая-то женщина закричала:

— Нет, подождите! Подождите — и я скажу!

Она оказалась врачом пушкинской больницы, лечившей Татьяну Григорьевну в последнее время. Она сказала, что ее потрясли все эти похороны, проникновенные выступления учеников и коллег, что Гнедич не раз ей говорила, когда лежала у нее в больнице:

— Непременно приходите на мои похороны — вы услышите обо мне много интересного.

Приглашать на собственные похороны — какую же надо для этого иметь силу духа, самоиронию, ощущение, что жизнь прошла не зря!

Нет, жизнь прошла не зря. «Я буду жить в своих учениках», — уверенно говорила Т. Г. Гнедич. Это так и есть. Все мы, бывавшие когда-то на Московской, а затем на ул. Васенко, в трудные минуты жизни вспоминаем нашего Учителя и друга. И в радостные минуты как хочется набрать знакомый номер телефона.

Жизнь Т. Г. Гнедич была в целом счастливой, особенно те последние двадцать лет, когда она жила в Пушкине, работала, руководила молодыми и была окружена людьми до такой степени, что не знала ни минуты покоя, но это ей очень нравилось, хотя иной раз она и жаловалась, что присесть некогда. При ее жизни «Дон-Жуан» издавался четыре раза — а ведь есть еще посмертные издания. В книге «Высокое искусство» К. И. Чуковский высоко оценил работу Татьяны Гнедич. Подобно тому, как Пушкин назвал подвигом перевод своего современника Н. И. Гнедича, который дал русскому читателю гомеровскую «Илиаду», К. И. Чуковский считает подвигом труд Т. Г. Гнедич: она дала русским читателям «умный, любовный перевод одного из величайших произведений всемирной поэзии»... «Единственное слово, которое мы вправе сказать о самоотверженном труде Татьяны Гнедич, это слово — подвиг».

Галина Усова



ИЗ ВЕНКА СОНЕТОВ «ПОЭТУ»

7.

Тревожится, растет девятый вал
Поэзии. Дымится тайна слова —
Вот-вот и вспыхнет. Блока час настал,
Горит его магический кристалл,
Вселенской диалектики основа.
Все для большого синтеза готово.
Вот внук того, кто Зимний штурмовал,
Любуется бессмертьем Гумилева.

Народный подвиг все ему простил —
Дворянской чести рыцарственный пыл
И мятежа бравурную затею.
Прислушайтесь: над сутолокой слов
Его упрямых бронзовых стихов
Мелодии все громче, все слышнее.

Фотография

не

найдена

Георгий
Ефимович
ГОРБАЧЕВ

1897—1942

Из книги «Писатели Ленинграда»

Горбачев Георгий Ефимович (26.IX.1897, Петербург — 10.X.1942), критик, литературовед. Член КПСС с 1919 года. В 1919—1921 годах — политработник в Красной Армии. Окончил филологический факультет Петроградского университета (1922). С 1923 года — доцент этого же университета, затем профессор ЛИФЛИ. В 1925—1926 годах — редактор журнала «Звезда». Автор работ по русской классической и советской литературе: «Бытие и сознание в понимании Переверзева» («Звезда», 1929, № 3), «Октябрь в русской художественной литературе» (в книге «Записки научного общества марксистов», 1927), «Открытое письмо редактору „Звезды“» (в книге «Пролетариат и литература», 1925), «Литературное „затишье“ и его причины» (в книге «Голоса против», 1928), «Назад к Шулятикову и Айхенвальду» (в книге «За марксистское литературоведение», 1930) и др. Избирался в Ленинградский Совет депутатов трудящихся.

Движущие силы русской революции: Конспект лекции, 1920; 9 января и декабрьские дни 1905 года.— Пг., 1922; Очерки современной русской литературы. Л., 1924 и 1925; Капитализм и русская литература. Л., 1925 и 1928; Два

года литературной революции. Л., 1926; Современная русская литература. Л., 1928 и 1929; Против литературной безграмотности. Л., 1928 и 1930; Полемика. М.—Л., 1931.

ВОИТЕЛЬ ИЗ ЛАППа

Георгий Ефимович Горбачев родился в Петербурге в семье мелкого чиновника. Он рано пристрастился к чтению и, обладая прекрасной памятью, знал наизусть множество стихов. Его не надо было упрашивать выступать на семейных торжествах или на детских праздниках. Приходилось, наоборот, останавливать: дай, мол, и другому спеть или прочесть стихотворение.

В двенадцать лет мальчик увлекся эпиграммами. Озорно улыбаясь, он сыпал ими кстати и некстати, не жалея «ради красного словца, ни девицы, ни отца», и дома, и в гостях, и в гимназии. В выборе будущей профессии колебаний у него никогда не было — только литература.

После окончания гимназии в 1914 году он поступил на филологический факультет университета. И вскоре с головой ушел в политику. В 1917 году, когда в Петроград возвратился из эмиграции Ю. О. Мартов, Горбачев некоторое время работал в группе меньшевиков-интернационалистов. Однако ленинская платформа оказалась более созвучной его устремлениям. Он принимает активное участие в событиях 3 июля и на два месяца попадает в тюрьму. Это обстоятельство еще больше укрепило его в приверженности большевикам.

В 1919 году Горбачев становится членом РКП(б). Его занятия в университете прервала служба в Красной Армии. С 1919 по 1922 год Георгий Горбачев — политработник Петроградского военного округа. Эту свою службу он начал не очень удачно. Подал однажды начальству рапорт в стихах и получил разнос, кажется, даже сидел на гауптвахте. Пришлось о литературе на время забыть.

Закончив после демобилизации из Красной Армии университет, Горбачев остался в нем работать — вести курс русской литературы. Молодой и энергичный преподаватель пользовался у студентов популярностью, вокруг него быстро сплотилась литературная молодежь, считавшая, что старый мир надо разрушить, а в новом они создадут новое искусство и литературу.

Особенно близко Горбачев сошелся с А. Безыменским,

С. Родовым, Л. Грабарем, Е. Мустанговой. Они часто собирались поспорить, почитать стихи. И с ними неизменно «Жорж-Морж», а то и просто «Морж» — так называли Горбачева друзья за свисавшие вниз усы. Молодой доцент следил за своей внешностью, пользовался у женщин успехом, был веселым, неистощимым на разного рода выдумки человеком, по-прежнему любил ошарашить неожиданной эпиграммой, которую сочинял сам. Как и в детстве мог часами читать стихи.

Остается тайной, как у него на все хватало времени. Кроме работы в университете, он являлся одно время заместителем директора Института новой литературы Академии наук, читал курс лекций по литературе в Научно-исследовательском институте сравнительной истории литератур и языков Запада и Востока (ИЛЯЗВ) при Ленинградском отделении Коммунистической академии, руководил литературной группой «Стройка», а в 1925—1926 годах был редактором журнала «Звезда». Чтобы быть в курсе событий, ему приходилось ежедневно прочитывать и просматривать массу литературы: критических и литературоведческих статей, стихов, рассказов, повестей, романов. Поэтому сам он писал сравнительно мало, вступая в литературную полемику лишь в тех случаях, когда считал невозможным промолчать.

Георгий Горбачев и его друзья составляли левое крыло Ленинградской ассоциации пролетарских писателей (ЛАПП), считавших, что литература прежде всего должна быть партийной, а значит, правильно отразить мировоззрение и быт рабочего класса можно только «изнутри», иными словами на это способны только выходцы из рабоче-крестьянской среды. Отсюда вытекало, что создавать новую, советскую литературу можно лишь, опираясь на пролетарских писателей, тех, кто имеет соответственное социальное происхождение. ЛАПП имел и свой орган — журнал «На посту», за что их часто называли напостовцами.

Левые напостовцы отличались особенно жесткой политикой по отношению к писателям, которые сочувствовали революции, но в своем мировоззрении не стояли на четких марксистских позициях или испытывали идейные колебания. В ту пору их именовали попутчиками, хотя термин этот был достаточно искусственным и не столько характеризовал писателя, сколько являлся выражением РАППовской политики диктата в литературе.

В 20-х годах среди литературоведов и критиков на почве отношения к попутчикам разыгрывалось немало жестоких баталий: противники в выборе выражений не стеснялись, непримиримо отстаивая свою точку зрения, постоянно обвиняли друг друга в искажении проводимой партией политики.

Горбачев не оставался в стороне. В 1925 году он выступил в «Звезде» (№ 1) со статьей «Открытое письмо в редакцию „Звезды“», где предостерегал от опасности со стороны литературного троцкизма — воронщины. Воронский-де, как и Троцкий, считает, что развитие пролетарской литературы в ближайшую эпоху невозможно и покровительствует попутчикам в их стремлении остаться по отношению к пролетариату в изоляции.

Впрочем, это выступление Горбачева было направлено не столько против попутчиков, как тогда это воспринималось большинством, сколько против, как он считал, подрыва гегемонии пролетариата. Чтобы убедиться в этом, достаточно раскрыть «Звезду» № 5 того же года и прочесть его статью «О творчестве Бабеля». В ней Горбачев дает творчеству попутчика Бабеля достаточно высокую оценку и вовсе не попрекает «самостоятельностью», считая, что тот идет по пути Пушкина. А Пушкин, Лесков, Тургенев и Некрасов были, по его мнению, прекрасными стилизаторами.

Горбачева обвиняли в эклектизме (соединении социологического и морфологического методов), в формализме и «механичности деления литературы по классовым группировкам». Действительно, во многих его выступлениях и печатных работах четкости и ясности мысли недостает. Однако он, без сомнения, честен и подкупающе искренен в своей фантастической преданности пролетарской литературе и вере в ее будущее.

Выступая на Северо-западной областной конференции Ассоциации пролетарских писателей в январе 1928 года, верный себе, он говорит, что только пролетарская литература, обладая «мировоззрением передового класса нашей эпохи», может волновать читателя актуальными вопросами современности. И сетует на то, что пролетарские писатели, «стоя на той же точке зрения, что и передовой читатель, знанием, широтой интересов и глубиной теоретической мысли обычно не превосходят его». Не превосходят, потому что «одним нутром ничего не возьмешь, нужно образование, разносторонность интересов, критическое

усвоение всего, что сделано предшественниками». Он призывает пролетарских писателей учиться у классиков умению «в интимном отразить основные исторические движения», из частного случая сделать художественное сообщение, но перенимать технические приемы не слепо, показывать не «человека вообще, а различие классов».

Считавший всегда, что пролетарская литература — «боевой отряд рабочего класса, работающий под прямым руководством большевиков на литературном фронте», Горбачев с течением времени все более ожесточается. Когда в деревне началась коллективизация, а газеты запестрели сообщениями об обострении классовой борьбы, он решил, что у современной литературы осталось лишь два пути: с партией или — в лагерь врагов. Середины не дано.

Он порывает с напостовцами и становится одним из руководителей Литературного фронта. Эта крайне левая группировка Ассоциации пролетарских писателей выступала за классовую действенность искусства, но четко сформулированной своей платформы не имела. Просуществовала она в 1930 году в Ленинграде недолго — около полугода.

Основная полемика конца 20—30-х годов разворачивалась вокруг того, как должен пролетарский писатель показать героя — «живым человеком вообще» или «классовым человеком», а также вокруг романа Либединского «Рождение героя».

В 1930 году на 3-й Областной конференции ЛАПП Горбачев выступил против разработки психологического жанра в пролетарской литературе, считая, что в настоящее время он не может служить ее основой. «Современной литературе, — говорил он, — нужна разоблачающая врага ярость Салтыкова-Щедрина, ирония Гейне, издевка Франса над парадной, внешне показной стороной истории». Он уверял, что вовсе не отрицает величия Толстого, Стендаля, талант Чехова, Мопассана и пользы учебы у них. Что у Стендаля надо научиться «психику через действие показывать», у Достоевского — «умению показа идей», ибо «не кобыла к копыту привязана, а копыто к кобыле». Учеба и критика должны быть осмысленны. «Мы за учебу у классиков, но против некритического отношения к ним, за подчинение этой учебы актуальным задачам пролетарской революции, против „самодержавия“ Толстого и скатывания к чеховщине, за расширение

круга учебы революционными, боевыми, бодрыми, социально-насыщенными, действенными и злободневными в свое время классическими образами».

Считая, что искусство не только расширяет мировоззрение, но и обладает способностью «заражать идеями и настроениями», Горбачев утверждал, что «не все равно, с какими художниками иметь дело». Он говорил, что в настоящий период Белинский может быть полезнее Писарева, а Шиллер — Толстого, который видит в людях «биологические, а не социальные черты». Что сейчас ближе Байрон, Гюго и Некрасов, чем «гениальный мистик Тютчев и декант Бодлер».

Сегодня, перечитывая литературную полемику 20—30-х годов, удивляешься тому, какие страсти кипели по, казалось бы, чисто теоретическим проблемам литературоведения и философии. И невольно наталкиваешься на странную мысль, что в творческих разногласиях противниками все чаще и явственнее высказываются политические обвинения, а под видом творческих разногласий идет общая дискредитация литературно-политической линии ВАПП.

Письмо Сталина «О некоторых вопросах истории большевизма» в редакцию журнала «Пролетарская революция» в 1931 году послужило сигналом к началу развернувшихся вскоре репрессий. В нем «отец всех народов» советует редакции «заострить внимание против троцкистских и всяческих иных фальсификаторов истории нашей партии, систематически срывая с них маски», потому что либерализм в отношении троцкизма, хотя бы и разбитого и замаскированного, это — «головотяпство, граничащее с преступлением, изменой рабочему классу». Он призывает большевиков дать решительный отпор попыткам некоторых «литераторов» и «историков» протащить контрабандой в нашу литературу «замаскированный троцкистский хлам».

14 декабря 1931 года на заседании в Институте литературы, искусства и языка Ленинградского отделения Коммунистической академии, посвященном обсуждению сталинского письма, выступил В. Кирпотин. Он резко и недвусмысленно обвинил Горбачева в том, что тот «под маской литературоведческих исследований» ведет троцкистскую пропаганду, а в своей книге «Современная русская литература» самым откровенным образом пропагандирует неприкрытые троцкистские идеи, уверяя, что

«наша действительность термидорианская», хотя самого слова «термидор» прямо и не употребляет. Деятельность Горбачева, по утверждению Кирпотина, особенно вредна, потому что он «пытается доказать нашим учащимся, что мы с нашими хозяйственными задачами не справились», темпы продвижения вперед по пути строительства социализма замедлились и в результате «в наступлении находится не социализм, не пролетариат, а буржуазные элементы».

Горбачев, действительно, писал в своей книге «Современная русская литература», что «буржуазные настроения проникают в ряды наших молодых», вышедших порой из пролетариата и даже входящих в ВКП(б) интеллигентов», однако из этого вовсе не следует, что «в наступлении находится не социализм, не пролетариат, а буржуазные элементы».

Основной удар своим выступлением Кирпотин нанес Горбачеву, но краем задел и других напостовцев (Лелевича и Родова), а также тогдашнего наркома просвещения А. В. Луначарского.

В 1932 году Ассоциация пролетарских писателей постановлением ЦК ВКП(б) от 23 апреля была распущена.

Сегодня нам ясно, что судьба Горбачева, а с ним и многих других литераторов из его окружения, была предрешена. Но тогда все воспринималось по-иному, и вряд ли Горбачев сумел реально оценить складывавшуюся в стране политическую обстановку. До 1934 года оставалось тогда всего два года, но до 1937 — пять лет.

Арест Горбачева мог быть для него и неожиданным. Впрочем, если даже он и ждал его, то уж дальнейшего развития событий предвидеть никак не мог. Ведь он честно служил партии на избранном им поприще и верил ей.

Георгий Ефимович Горбачев был осужден.

Лиана Ильина

Фотография

не

найдена

**Леонид
Юрьевич
ГРАБАРЬ**

1896—1937

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Грабарь-Шполянский Леонид Юрьевич, 30 марта 1896 года рождения, уроженец Ленинграда, русский, гражданин СССР, член ВКП(б) с 1919 по 1922 год, механически выбыл в 1922 году, писатель (член ССП), проживал: Ленинград, Кировский пр., дом 35/37, кв. 34
жена — Шполянская Ольга Михайловна
сын — Грабарь-Шполянский Юрий Леонидович, 1922 года рождения

сын — Грабарь-Шполянский Рем, 1925 года рождения
Арестован 3 июля 1936 года Управлением НКВД по Ленинградской области. Обвинялся по ст. 17—58-8 УК РСФСР (пособничество в совершении террористического акта), 58-11 (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления).

Приговором выездной сессии Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 23 декабря 1936 года определено

содержание в тюрьме сроком на 5 лет. Направлен в Белбалтлаг НКВД.

Постановлением Особой Тройки УНКВД ЛО от 9 октября 1937 года определена высшая мера наказания. Расстрелян 2 ноября 1937 года в Ленинграде.

Определением Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 10 ноября 1956 года приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР, постановление Особой Тройки УНКВД ЛО от 9 октября 1937 года в отношении Грабарь-Шполянского Л. Ю. отменены, и дело за отсутствием в его действиях состава преступления прекращено.

Грабарь-Шполянский Л. Ю. по данному делу реабилитирован.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Грабарь (настоящая фамилия Шполянский) Леонид Юрьевич (30.III.1896, Петербург — 2.XI.1937), прозаик. После окончания гимназии (1917) недолгое время учился в медицинском институте. В годы гражданской войны — курсант военного училища, затем участник боев на Северном фронте, под Петроградом против Юденича, под Оренбургом против Дутова, воевал на Польском фронте, восстанавливал железную дорогу на Кавказе, воевал с басмачами в Туркестане. В 1923—1924 годах — служащий одного из московских трестов. С 1926 года жил в Ленинграде. Автор пьесы «Машинист Комаров» (в соавторстве с Н. Баршевым, 1933).

Лахудрин переулоч: Повесть. Л., 1926; Морошка-ягода: Олонецкая повестушка. М., 1926; Во мхах: Повести. М., 1927; Коммуна восьми: Роман. М.—Л., 1927; Людичеловеки, Л., 1927; Рассказы с забавными концами. Л., 1927; Записки примазавшегося: Повесть. М., 1928; Журавли и картечь: Повесть. М.—Л., 1928; Жемчуга от Тэт-а-Тэт'а: Повесть. М.—Л., 1928; Семейная хроника. Л., 1931; Большой покер: (Пьеса в 5-ти действиях). Л., 1933; Сельвиниты: Роман. М.—Л., 1933.



**Петр
Константинович
ГУБЕР**

1886—1940

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Губер Петр Константинович, 16 сентября 1886 года рождения, уроженец г. Киева, русский, гражданин СССР, беспартийный, литератор (член ССП), проживал: Ленинград, наб. р. Карповки, дом 23, кв. 1
жена — Губер Ада Аркадьевна, 1892 года рождения
сын — Губер Константин Петрович, 1914 года рождения
сын — Губер Александр Петрович, 1919 года рождения
дочь — Губер Наталья Петровна, 1907 года рождения
дочь — Бюкинг Елена Петровна, 1911 года рождения

Арестован 26 августа 1938 года Управлением НКВД по Ленинградской области. Обвинялся по ст. 58-10 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда), 58-11 (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления).

Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 10 ноября 1939 года определено содержание в ИТЛ сроком на 5 лет.

Был направлен в Кулойлаг НКВД (ст. Архангельск).

Постановлением Президиума Ленинградского городского суда от 11 июля 1961 года постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 10 ноября 1939 года в отношении Губера П. К. отменено, и дело за отсутствием в его действиях состава преступления прекращено.

Губер П. К. по данному делу реабилитирован.

Из материалов дела

Губер П. К. в 1904 году в Полтаве окончил кадетский корпус и поступил на экономическое отделение Петроградского политехнического института. Окончил в 1909 году.

В 1914 году окончил юридический факультет Петроградского университета.

В этом же году уехал на фронт по линии Красного Креста.

В 1915 году ушел из Красного Креста и поступил военным чиновником-переводчиком в штаб 6-й армии, где был до конца 1916 года.

В Петроград вернулся перед Февральской революцией и был назначен помощником коменданта Биржи труда.

Работал корреспондентом Петроградского агентства.

В 1919 году при содействии Горького устроился переводчиком во «Всемирную литературу».

С 1921 года целиком отдался литературной деятельности.

С 1927 по 1930 год издал «Кружение сердца», «Месяц туманов», «Хождение на Восток Марко Поло».

В 1931 году выпустил перевод — «Похвальное слово глупости».

В 1934 году был принят в ССП.

Умер весной 1940 года в Архангельской области.

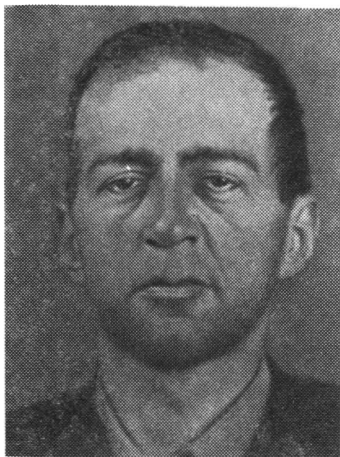
Из книги «Писатели Ленинграда»

Губер (подписывался также псевдонимом П. Ф. Арзубьев) Петр Константинович (16.IX.1886, Киев — 13.IV.1940), прозаик, критик, литературовед, переводчик. Кандидат экономических наук. Окончил экономическое отделение Политехнического института. В годы первой мировой войны служил в Красном Кресте, был военным корреспондентом, переводчиком в штабе. В годы гражданской войны — смотритель госпиталя в Петрограде. Литературным трудом начал заниматься в 1910 году. Был консультантом книжной лавки писателей. Автор вступительных статей в книгах: Граф В. А. Соллогуб. «Воспоминания» (1921); Д. Лондон. Собр. соч. (1926, т. 12, 2-е изд., 1927); К. Прутков. Произведения, не вошедшие в собрание сочинений (1929); Э. Т. Гофман. Повелитель блох (1929).

Перевел «Белую птичку» Д. М. Барри (1922), «Восстание ангелов» А. Франса (1923, сокращенный перевод), «Похвальное слово глупости» Э. Роттердамского (1932 и 1938; в 1960 переиздан под названием «Похвала глупости»).

Книга Г. Ринера «Хитроумный идальго Мигуэль де Сервантес Сааведра» (1930) вышла в переработке П. Губера.

Дела и люди военного времени. Пг., 1915; Анатолий Франс. Критико-биографический этюд. Пг., 1922; Донжуанский список Пушкина: Главы из биографии. Пг., 1923; Кружение сердца: Семейная драма Герцена. Л., 1928; Месяц туманов: Роман-хроника. Л., 1929; Хождение на Восток венецийского гостя Марко Поло, прозванного миллионщиком. Л., 1929, 1930.



**Григорий
Александрович
ГУКОВСКИЙ**

1902—1950

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Гуковский Григорий Александрович, 1902 года рождения, уроженец Ленинграда, еврей, гражданин СССР, беспартийный, зав. кафедрой русской литературы, профессор ЛГУ, проживал: Ленинград, В. О., 13 линия, дом 58, кв. 3
жена — Гуковская Зоя Владимировна, 34 года
дочь — Гуковская Наталья Григорьевна, 13 лет

Арестован 19 октября 1941 года Управлением НКВД по Ленинградской области. Обвинялся по ст. 58-10 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда).

Постановлением УНКВД ЛО от 27 ноября 1941 года дело в отношении Гуковского Г. А. за недостаточностью улик для предания суду прекращено, из-под стражи освобожден.

Из материалов дела

Гуковский Г. А. с 1912 по 1923 год учился.
С 1923 по 1928 год был преподавателем в средней школе № 51 (ул. Правды).

С 1924 по 1930 год — ст. научный сотрудник Государственного института истории искусств.

С 1930 по 1935 год — доцент, а затем профессор Коммунистического института журналистики.

С 1935 года — в ЛГУ.

С 1937 года — зав. кафедрой литературы Ленинградского института усовершенствования учителей.

С 1931 по 1941 год — ст. научный сотрудник Института литературы АН СССР.

С 1933 года — член ССП.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Гуковский Григорий Александрович (1.V.1902, Петербург — 2.IV.1950), литературовед и критик. Доктор филологических наук, профессор. Окончил факультет общественных наук Ленинградского университета (1923). Одновременно с научно-исследовательской вел большую педагогическую работу: в средней школе (1923—1928), на Высших курсах при Институте истории искусств (1924—1930), в Коммунистическом институте журналистики (1928—1936). С 1935 года и до конца жизни преподавал в Ленинградском университете, был профессором, а затем зав. кафедрой русской литературы, одновременно научным сотрудником ИРЛИ, с 1938 года — зав. кафедрой Ленинградского института усовершенствования учителей и зав. сектором ЛО Академии педагогических наук. В годы Великой Отечественной войны читал курс в Саратовском университете, а затем был проректором по научной работе этого же университета. Литературную работу вел с 1925 года. В круг его творческих интересов входила история русской литературы XVIII и XIX веков. Автор первого в советском литературоведении систематического курса по истории русской литературы XVIII века. Как текстолог и научный редактор принимал участие в издании собраний сочинений Радищева, Фонвизина, Крылова, Державина, Сумарокова и др. Написал ряд глав в десяти томной «Истории русской литературы». В последние годы жизни работал над книгой о Гоголе (вышла посмертно в незавершенном виде). Часть архива находится в ЛГАЛИ.

Русская поэзия XVIII века. Л., 1927; Очерки по истории русской литературы XVIII века: Дворянская фронда в ли-

тературе 1750—1760 годов. М.—Л., 1936; Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века. Л., 1938; Русская литература XVIII века. М., 1939; К вопросу о преподавании литературы в школе. Л., 1941; Любовь к родине в русской классической литературе. Саратов, 1943.— В соавторстве с В. Евгеньевым-Максимовым; Пушкин и русские романтики. Саратов, 1946 и М., 1965; Пушкин и проблемы реалистического стиля. М.—Л., 1957; Реализм Гоголя. М.—Л., 1959; Изучение литературного произведения в школе (Методологические очерки о методике). М.—Л., 1966.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО И ЕГО НЕДРУГИ

Григорий Гуковский родился в семье интеллигентов. Отец, инженер, считал гуманитарные дисциплины несерьезными и не хотел, чтобы дети занимались ими, но Григорий Александрович выбор сделал сразу и бесповоротно. В 1918 году шестнадцатилетний юноша поступил на историко-филологический факультет Петроградского университета и еще в студенческие годы выделился эрудицией и оригинальными мыслями.

Виктор Максимович Жирмунский вспоминал: «Мне сказали про студента, который наизусть цитирует Клопштока. Заинтересовался. Познакомились». Вскоре это знакомство перешло в близость, а затем и в дружбу равных. Недолгое время Гуковский работал в школе, затем в Институте истории искусств, в Пушкинском доме и параллельно — в университете.

В 20-е годы наиболее заметным течением в литературоведении было ОПОЯЗ, участники которого особенно преуспели в анализе литературной формы. Гуковский не входил в ОПОЯЗ, но его влияние, безусловно, испытал. Отдал он дань и вульгарному социологизму, однако наиболее определяющим для его метода стал исторический подход к явлениям духовной жизни общества.

В прошлом ученик Гуковского, ныне профессор Калифорнийского университета Илья Захарович Серман писал в журнале «Синтаксис»:

«В 1927 году вышла его (Гуковского.— Е. Ф.) первая книга „Русская поэзия XVIII века“. В ней словесно-

поэтическая культура XVIII столетия была рассмотрена с точки зрения ученого-филолога, выросшего в эпоху свободного творчества великих поэтов XX века — Блока, Маяковского, Ахматовой, — воспитанного на их поэзии. Молодой ученый талантливо соединил умение понять пафос русской поэзии XVIII века в ее собственной динамике, обусловленной общим движением культуры, с точки зрения человека XX века, который видит и знает, куда шло поэтическое движение эпохи Ломоносова—Державина и чем ему обязан Пушкин и послепушкинская поэзия¹.

Воспитанный в лучших традициях русской интеллигенции, с первых шагов заявивший о себе как о выдающемся исследователе, Григорий Александрович Гуковский входил в активную творческую жизнь тогда, когда объявленное разрушение мира насилия превращалось в разрушение мира культуры. Можно было еще, наверное, эмигрировать, но эта идея никогда в семье всерьез не обсуждалась.

Лидия Яковлевна Гинзбург, которая переживала подобное, писала, что среди интеллигенции тех лет было и отталкивание и замороженность. «Замороженность возрастала с интенсивностью желания жить и действовать. Наглядно это можно измерить реакциями Григория Александровича Гуковского: он был сокрушительно активен, и его мысль — очень сильная — возбуждалась, как возбуждается страсть»².

Студенты университета, в котором начал преподавать молодой ученый, встретили его поначалу настороженно. Был он не намного старше их и не имел никакой внешней солидности, лекции читал, расхаживая между рядами; иногда, подгоняемый внезапной мыслью, почти бегал. Мог остановиться, обратиться к кому-то: «Женя Петров, дайте сигаретку». И, главное, не высказывал свои мысли, как истины в последней инстанции, не призывал верить на слово, наоборот, вызывал студентов на спор, на попытку разобраться самостоятельно. Это было непривычно и встречалось настороженно. Правда, недолго продержалась настороженность. Все ученики Гуковского, в ком осталось неискорверканное человеческое, любили его. В 30-е годы аудитории № 12 и 36, а позднее и большой актовый зал ломились

¹ Серман И. Григорий Гуковский. Синтаксис. Париж, 1982, с. 189—217.

² Гинзбург Л. Я. Еще раз о старом и новом (Поколение на повороте), Тыняновский сборник. Вторые Тыняновские чтения. Рига, «Зинатне», 1986, с. 137—138.

от слушателей, которые приходили на сугубо специальные лекции по истории русской литературы.

Профессор университета Владислав Евгеньевич Холшевников вспоминает: «Он был человеком веселым. Ему весело было не только заниматься самому, но и учить.

Помню конференцию в Пушкинском доме. Номинальным директором его был А. В. Луначарский. Должен был быть доклад П. Н. Беркова. Луначарского не было. Все томились, ждали, нарастало напряжение. Гуковский сидел на ступеньках Пушкинского дома и говорил: начальство опаздывает, ну, что ж — подождем. А потом было обсуждение — глубокое, блестящее. И атмосфера легкая. В значительной степени оттого, как сидел на ступеньках известный ученый и весело шутил с окружающей его молодежью».

Внешне как будто бы «ангажированный» официальной наукой, никогда открыто не протестовавший против ее идеологизации, Григорий Александрович Гуковский оставался верен себе: свобода, открытая эмоциональность, яркость натуры, талант ученого-исследователя, феноменальные способности воспитателя.

Ученики Гуковского, читая книги по литературе XVIII века, до сих пор слышат его неповторимые интонации. У него был звучный баритон, он прекрасно читал стихи. И говорил о каждом писателе, поэте с тем внутренним проникновением, при котором даже стиль рассказа родственен стилю анализируемого произведения. И главное, каждая лекция была творчеством: казалось, что присутствующие непосредственно наблюдают процесс рождения научных идей.

Люди, которые знали, как работал Григорий Александрович, понимали, что к лекциям он тщательно готовился, даже писал их, но никогда не повторял одно и то же. Он заряжался от аудитории, импровизировал; многие мысли, действительно, приходили к нему во время лекций, поэтому они богаче, значительнее научных трудов.

Лидия Михайловна Лотман: «У нас были прекрасные лекторы, но Гуковский был вне конкуренции. У него был чудесный голос, он очень хорошо читал стихи, но главное, что XVIII век у него был совершенно живой. Он уже был раскритикован как формалист, увлекся социологическим подходом к литературе и, как человек талантливый, хоть и отдал дань вульгарному социологизму, в целом взял наиболее яркое из него — ощущение жизни, литературы

как процесса. Он был тесно связан с современной литературой, любил акмеистов. Но вместе с тем жил той эпохой, которую преподавал. Гуковский очень лично принимал, к примеру, борьбу Ломоносова и Сумарокова. Для него это была борьба тем более острой, что оба участника были ярко одарены, и оба нетерпимы к чужим точкам зрения».

Абрам Акимович Гозенпуд: «Был он щедрым и колючим. Характер не был особенно мягким. Терпеть не мог бездарности. Но в этом рационалистическом человеке одним из свойств, скрываемых под иронией, было лирическое начало. Высокий ум, сдержанность, к которой приучила эпоха, не позволяли лиризму проявиться явно. Но вот как сейчас помню удивительную по проникновенности публичную лекцию о любовной лирике Жуковского, которую Григорий Александрович читал в Киеве в Доме ученых. Без всякой красоты цитировал он на память стихи и письма Жуковского и временами рождалось ощущение, что это не наш современник, не Гуковский, а сам Жуковский обращается к Маше Протасовой».

Владислав Евгеньевич Холшевников: «В первой половине тридцатых годов был диспут о литературе XVIII века. Выступал литературовед Д. П. Мирский. До этого в одной из статей Мирский перепутал двух однофамильцев, так Гуковский просто кипел от возмущения, как будто ему лично нанесли оскорбление: в XVIII веке было так мало образованных людей — как можно не знать их всех по имени-отчеству?»

Лидия Михайловна Лотман: «Когда П. Н. Берков рассказывал о XVIII веке, то создавалось впечатление, что люди тогда были умные, образованные, они занимались лингвистикой, формулировали теоретические постулаты. Когда же говорил Гуковский, то получалось, что это были страстные люди, они читали стихи, спорили, даже интриговали друг против друга, но были кровно заинтересованы в развитии культуры».

Яркость личности Гуковского, владение всеми видами устной и письменной речи, огромная эрудиция (он был, безусловно, одним из глубочайших знатоков русской литературы, но прекрасно знал и французскую и мог целыми страницами по-французски цитировать Марсея Пруста), писательское умение погружать слушателя во время, о котором говорил,— все это не могло не сказаться на всех, кого сводила судьба с Григорием Александровичем. При

всей своей колючести он удивительно щедро дарил свои идеи аспирантам, которые постоянно бывали у него дома: он пестовал их, поощрял их тягу к исследованию. Как-то на кафедре в университете зашла речь о том, что до сих пор нет хорошей книги о Баратынском. «Да,— поддержал Гуковский,— но я на днях слушал одного мальчишка, вот он, может быть, напишет». Мальчиком, о котором шла речь, был Юрий Михайлович Лотман, тогда — студент первого курса.

Когда к нам, студентам-гуманитариям 60-х годов пришли только что разрешенные труды Г. А. Гуковского, мы жадно на них накинулись, но скоро охладели. Теперь я понимаю, что мы искали в них противодействия официальной науке, так же, как в любых постановках классики: проекции на наше сегодняшнее.

Сейчас к книгам Гуковского снова хочется обращаться. Я уже не говорю о литературе XVIII века, здесь ученый не только ввел ряд новых имен и открыл целые неизведанные пласты, он и Павел Наумович Берков создали целостную концепцию развития русской литературы этого столетия, к которой последующие исследователи мало что могли прибавить. Удивительно цельным предстает Гуковский и в своем творчестве, и в жизни. Те же представления о мире, те же ценностные ориентации во всем.

Наталья Долинина в своих воспоминаниях об отце с удивительным юмором рассказывала о тех конфликтах, которые случались в семье:

«Мы оба были вспыльчивы и умели наговорить друг другу такого, что в другой семье хватило бы скандала на неделю. Из-за любого пустяка он мог устроить крик о чести фамилии — тем самым голосом, каким без микрофона читал лекции сотням людей. Я, закусив удила, пищала ответные оскорбления — никто не мог бы услышать их в громе его голоса»¹.

Честь семьи, человеческое достоинство — главные слова, которые слышала от отца дочь. Вот начало статьи Гуковского «Драматическое искусство в России XVIII века»:

«Народные песни с хороводными играми, народные обряды, свадебные или связанные с датами сельскохозяйственного календаря, полны драматизма, в них выражены в мифологическом воплощении и морально-бытовые представления народа, и его идеалы борьбы с природой, с ее

¹ Наталья Долинина. Отец.— «Аврора», 1974, № 9.

темными силами, и его идеалы свободного человеческого достоинства»¹. Оставим на долю времени и на совести автора борьбу с природой, но свободное человеческое достоинство — мысль, которая проходит через всю статью.

Нельзя сказать, чтобы Григорий Александрович не видел, что происходит вокруг, но он пытался отстраниться, считал, что стену лбом не перешибешь. Лидия Яковлевна Гинзбург вспоминала, как летом 1938 года Жирмунские, Гуковские и она с мужем жили в деревне на Полтавщине. Там все еще хранило память о голоде, в Ленинграде шло уничтожение людей. Тут, отдыхая, все эти мыслящие, глубокие люди приятно проводили время, ездили на лодках, высаживались на необитаемых островах. Жизнь шла своим путем. Но когда касалось людей близких, Гуковский вступался отважно.

Лидия Михайловна Лотман: «В 1937 году был арестован Павел Наумович Берков. К нам в институт пришел представитель НКВД и стал говорить, что Берков разоблачен, что он шпион, что он уже признался, что не Берков, а Бёрков. И вот тогда Григорий Александрович Гуковский при огромном стечении студентов сказал, что с Павлом Наумовичем Берковым он дружил. Павел Наумович через год был освобожден. Да и для самого Григория Александровича заступничество не имело обычных последствий».

Тридцатые годы прошли для самого Гуковского более или менее благополучно. Первый раз его арестовали в 41-м за «пораженческие настроения», правда, через несколько месяцев выпустили.

Блокаду Гуковский пережил в Ленинграде, в марте 42-го вместе с университетом был эвакуирован в Саратов. Вернулся в 48-м, а в 49-м грянул гром, именуемый борьбой против космополитизма.

Интересно, что Григорий Александрович, всю жизнь занимавшийся русской культурой, о своих еврейских корнях почти забывал. Да и мало задумывался об этих проблемах. Так, он считал, что антисемитизм занесен к нам Гитлером. И когда против него обернулась эта спровоцированная гнусная кампания, был потрясен.

Подробный, документальный рассказ о том, как была организована травля «космополитов» на филологическом отделении Ленинградского университета, содержится в

¹ *Гуковский Г. А. Драматическое искусство в России XVIII века.* — В сб. *Классики русской драмы.* Л.—М., «Искусство», 1940, с. 7.

статье Константина Азадовского и Бориса Егорова «О низкопоклонстве и космополитизме, 1948—1949», журнал «Звезда», 1989, № 6.

Здесь же хочется еще раз напомнить об инициаторах и исполнителях избиения всемирно известных ученых: Б. М. Эйхенбаума, В. М. Жирмунского, М. К. Азадовского, Г. А. Гуковского. Среди наиболее рьяных надо назвать тогдашнего декана филфака Г. П. Бердникова, в будущем академика Бердникова, благополучно пережившего и впоследствии все перипетии отечественной истории; секретаря парторганизации факультета Н. П. Лебедева (в дальнейшем спился и умер). Его соавтор, Федор Абрамов, как говорят знающие люди, подписал написанную не им гнусность. В недавно опубликованном в «Огоньке» материале Ф. Абрамов рассказал историю Лебедева, выведя его под псевдонимом. И хоть о своей роли в травле космополитов писатель умолчал, видно, что собственное тогдашнее поведение не давало ему покоя.

Собрание, на котором клеймили низкопоклонников, космополитов и антипатриотов — Эйхенбаума, Жирмунского, Азадовского, Гуковского, — продолжалось два дня при большом скоплении народа в актовом зале университета. Эйхенбаум и Азадовский были больны, у Гуковского после первого дня случился сердечный приступ. Оба дня выдержал один Жирмунский.

В. Е. Холшевников: «До сих пор помню, как неподвижно сидел сбоку от президиума Жирмунский, до сих пор в ушах трагический голос Гуковского. Его громили за космополитизм, антипатриотизм, а ведь он первый сказал, что XVIII век русской литературы был не ложноклассицизмом, а просто классицизмом. И вот трагическим голосом Гуковский в ответ на обвинения сказал, что любит русскую литературу, что воспитан на ней».

Нина Александровна Жирмунская: «Гуковский пережил это физически очень тяжело. Сразу сердечный приступ. Их всех из университета уволили. Пошли аресты. Каждый день узнавали о ком-нибудь».

Летом, в один день были арестованы оба брата Гуковских — Матвей в Сочи, а Григорий в Риге. Их жен в одну ночь выслали из Ленинграда».

Григорий Александрович Гуковский умер в Лефортовской тюрьме в апреле 1950 года, как потом сообщили родным, «от сердечного приступа, так как не пожелал воспользоваться медицинской помощью». Что это могло

значить, мы теперь представляем. Поскольку он умер до суда, не было и официальной реабилитации, что очень затрудняло и последующие публикации. Так что и посмертная судьба этого выдающегося ученого, создавшего школу в русской филологии, как было принято писать до недавнего времени, оказалась сложной.

Елена Фролова



Николай Степанович ГУМИЛЕВ

1886—1921

Знакомство с делом Н. Гумилева представлялось нам экстраординарным, выдающимся явлением для нашей семьи. Имя Гумилева — символ дома. Это имя — мера нравственности, храбрости, стойкости, мера гордости, чести, смысла жизни. В течение двадцати двух лет, с тех пор как П. Н. Лукницкий затеял в 1968 году реабилитацию Гумилева, этой идеей дом жил.

В том, как все произошло, не оказалось ничего сверхъестественного.

Из сотен тысяч, быть может, и больше, — обычная, как и все другие, папка. Стандартность ситуации в том, что когда мы пришли читать дело, его долго-долго искали, и здесь не было «злых сил», препятствовавших нашим намерениям. Просто «дело Гумилева» — именно одно из многих-многих дел с длинным архивным номером.

Работа с «делом» как бы спрессовалась во времени. Желание скопировать документы все в точности, с подлинников — безмерно. Документов много, а перед нашим столом — пожилой человек, ни разу не присев, терпеливо, стоя, ждет, когда мы закончим и вернем «дело» из наших рук в его руки. А нам кажется, что мы только что начали, и он, этот терпеливый, приветливый прокурор, пытается, нагнувшись над нами, даже помогать нам расшифровывать очередную бумажку.

И все же время бежит, обгоняет нас, уже объявлено партсобрание, и мы знаем, что остались мгновения этого

последнего, «третьего», нашего свидания с «делом». А дальше оно уйдет, может быть, Бог даст, не навсегда, может быть, теперь недолго ждать его рассмотрения...

В процессе работы с «делом» возникали проблемы, которые мы по мере сил пытались преодолеть.

Листы часто повторяются — к «делу» Гумилева возвращались не раз. Повторяются (перепечатаны) потому, что желтеет бумага, выцветают чернила, блекнут карандашные записи.

Какую-то часть листов прочесть невозможно. Время стерло текст. А может быть, — перманентная эвакуация архивов НКВД? Как бы то ни было, незначительные документы, типа квитанций или машинописных копий, могли выпасть из поля зрения.

Председатель правления Советского фонда культуры академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, активно способствующий раскрытию «дела» Гумилева, порекомендовал опубликовать его в популярном издании.

Вера Лукницкая, Сергей Лукницкий

ШАГРЕНЕВЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ

Мои мечты... они чисты,
А ты, убийца дальний, кто ты?!
О пожелтевшие листы,
Шагреновые переплеты!

Не подозревал, что знаю наизусть эти стихи Николая Гумилева. Но они мгновенно всплыли откуда-то из глубин памяти, едва у меня в руках оказалась копия «Дела № 214224 ПБО (Петроградская боевая организация) — Соучастники», того самого «дела» по обвинению Николая Степановича Гумилева в участии в контрреволюционном заговоре под предводительством профессора В. Таганцева (годы рождения и смерти те же, что и у Гумилева: 1886—1921), на основании которого был расстрелян один из замечательных поэтов «серебряного века» России.

Оказаться на месте Веры и Сергея Лукницких или на моем, а теперь уже и на вашем, желали сотни людей (большинства из них сегодня уже нет в живых): близкие и друзья поэта, его многочисленные ученики и почитатели, наконец, те, кто в 60-е—70-е годы мечтал увидеть стихи

Гумилева напечатанными на родине. Как дорого бы дали все они за то, чтобы взглянуть на «пожелтевшие листы» в «шагреневом переплете» — те, которые поэт сам себе напороочил. Но государство неохотно расстается со своими тайнами...

Представляю себе улыбки на губах тех, кто раньше по долгу службы был знаком с этим «делом», когда они читали в разных журналах и газетах многочисленные версии обстоятельств расстрела Гумилева, предположения о степени его виновности. Они-то знали всю правду и могли рассеять сомнения, прекратить споры! Они-то могли исходить не из гипотез. Впрочем, не могли. Работа есть работа. Долг службы. Еще одно подтверждение марксистского понимания государства как аппарата насилия, делающего человека «частичным», требующим от каждого только исполнения функций, отчуждающего человеческое. Но всегда интересно знать, в какой мере государству удается это проделать с каждым конкретным человеком. Если сотрудник органов действительно не мог поспособствовать истории литературы, любопытно знать: а хотел ли он этого? Рассказывал ли хоть кому-то из самых близких и доверенных правду об опальном русском поэте?..

Странное и страшное впечатление производят эти 107 листов. Боюсь, тот, кто ждет от них увлекательного чтения, детективной истории провала террористической организации, сильно разочаруется. Судите сами (синтаксис и орфографию оставляем без изменений):

Лист № 1 отсутствует.

Лист № 2.

Справка: В этом томе первый лист — фотокарточка, которая из дела изъята и находится в альбоме 25.II.1935 г.

Лист № 3 — анкета, заполненная рукой Гумилева.

Лист № 4.

Засада (рукой, чернилами. — *Ред.*)

Произвести обыск и арест.

Гумилев Николай Степанович, проживающ. по Преображенской ул., д. 5/7, кв. 2 по делу № 2534¹ 3 авг. 1921.

¹ Вероятно, под этим номером было возбуждено дело Петрогуб. Ч. К.

Лист № 5.

Петроградская Чрезвычайная Комиссия

Секретно-оперативный отдел

Талон ордера 1071

(Незаполненный бланк с подписью и печатью! — *Ред.*)

Лист № 6 — протокол обыска и ареста Гумилева за подписью сотрудника для поручений Мотавилова (? — *Ред.*) и председателя домового комитета И. Гусева. Другие необходимые подписи отсутствуют. Протокол удостоверяет задержание «Гражданина Гумилева Николая Сергеевича» (! — *Ред.*), изъятие переписки — «другого ничего не обнаружено», «оставление засады до выяснения».

Лист № 7.

Петроградская Чрезвычайная Комиссия

Секретно-оперативный отдел

Талон ордера 1096

(Незаполненный бланк с подписью и печатью! — *Ред.*)

Лист № 8.

Ордер на обыск от 5.8.21

(Чистый бланк. — *Ред.*)

Листы № 9 и 10 справки адресного стола. Листы №№ 11 12 — ордера на обыск «у гр. Гумилева Н. С.».

Лист № 13.

6413 Талон квитанции к делу

Денег советских 16.000 р.

старинных монет, гривенник (одно слово прошито, неразборч. — *Ред.*) 1 зол. 48 у. (или д) ¹.

Далее следуют квитанции, записки управдомов или подобные «доклады»:

Лист № 20.

Доклад

В Петроградскую Губернскую Ч. К.

Ввиду того, что д. № 11 по Пантелеймоновской ул. содержит 142 квартиры, из коих несколько не занятых, и домовые книги ведутся крайне беспорядочно, точно установкой в такой краткий срок, сделать нет ни какой физической возможности, тем более, что заведывающий

¹ Изъято у Н. Гумилева во время обыска. (*Ред.*)

дом. и домово́й книгой за свое кратковременное пребывание в этой должности еще не успел ориентироваться.

2.8.21

Коркий или Корский (неразборчиво.— Ред.)

Начиная с листа № 31 — подшитые к делу записки различных литераторов Гумилеву с просьбой о встрече, клочки бумаги, на которых поэт что-то помечал для памяти.

Оказалась в деле и трогательная записка жены на смятой папиросной бумаге:

Лист № 48.

Дорогой Котик конфет ветчины не купила, ешь колбасу не сердись. Кушай больше, в кухне хлеб, каша, пей все молоко, ешь булки. Ты не ешь и все приходится бросать, это ужасно.

Целую Твоя Аня

Следующие страницы: список названий стихотворений из вышедшего сборника Н. Гумилева, сделанный рукой поэта, расписки. Среди них такая:

Лист № 61.

Расписка. Мною взято у Н. С. Гумилева пятьдесят тысяч рублей. Мариэтта Шагинян. 23.VII.21.

Чего только нет в «деле» Гумилева! И приглашение участвовать в поэтическом вечере к нему подшито, и членский билет Дома искусств на 1920 год, и интимные записки со стершимся карандашным текстом — словом, все те немногочисленные следы, которые, помимо стихов, оставляет жизнь поэта на бумаге.

Такие листы составляют более двух третей всего «дела». Но, пожалуй, и их бы хватило, чтобы вынести Гумилеву беспощадный приговор, потому что достаточно уже того, что они удостоверяют с полной определенностью: подследственный Н. С. Гумилев — поэт, то есть субъект, по самой своей природе антагонистичный любому тоталитарному режиму, даже такому, который только начинает складываться, и уже поэтому виновен.

Только на 68—69-м листах (напоминаю, из 107) обнаруживается то, что имеет отношение к обстоятельствам действительной виновности или невиновности Гумилева:

протокол показания главы «заговора» профессора В. Таганцева.

Листы № 68, 69.

Протокол показания гр. Таганцева. «Поэт Гумилев после рассказа Германа обращался к нему в конце ноября 1920 г. Гумилев утверждает, что с ним связана группа интеллигентов, которой он сможет распоряжаться и в случае выступления согласна выйти на улицу, но желал бы иметь в распоряжении для технических надобностей некоторую свободную наличность. Таковой у нас тогда не было. Мы решили тогда предварительно проверить надежность Гумилева, командировав к нему Шведова для установления связей.

В течение трех месяцев, однако, это не было сделано. Только во время Кронштадта Шведов выполнил поручение: разыскал на Преображенской ул. поэта Гумилева, адрес я узнал для него во «Всемирной литературе», где служит Гумилев. Шведов предложил ему помочь нам, если представится надобность в составлении прокламаций. Гумилев согласился, сказав, что оставляет за собой право отказываться от тем, не отвечающих его далеко не правым взглядам. Гумилев был близок к Совет. ориентации. Шведов мог успокоить, что мы не монархисты, а держимся за власть Сов. Не знаю, насколько мог поверить этому утверждению. На расходы Гумилеву было выделено 200000 советских рублей и лента для пишущей машинки. Про группу свою Гумилев дал уклончивый ответ, сказав, что для организации ему потребно время. Через несколько дней пал Кронштадт. Стороной я услышал, что Гумилев весьма отходит далеко от контрреволюционных взглядов. Я к нему больше не обращался, как и Шведов и Герман, и поэтических прокламаций нам не пришлось ожидать».

В. Таганцев

6.VIII.1921

Собственно, это и есть главный документ «дела». Что из него следует, если считать показания Таганцева абсолютно достоверными? Гумилев утверждает, что с ним связана группа интеллигентов, которой в случае необходимости «он может распоряжаться». Что ж, это действительно так. Гумилев был признанным вождем акмеизма, возглавлял знаменитый «Цех поэтов» и имел огромное влияние на его участников. Пожалуй, ни у одного русского поэта

в то время не было столько учеников и подражателей. Наверно, Гумилеву было приятно ощущать себя властителем дум петроградской литературной молодежи. Но вот заявление, если оно имело место, что эта «группа интеллигентов» «в случае выступления согласна выйти на улицу», выглядит несколько самонадеянным. Этой самонадеянности, зная Гумилева по стихам и по воспоминаниям его современников, удивляться не приходится: некоторая юношеская бравада, очевидно, была присуща ему и как нельзя более соответствовала образу лирического героя гумилевских стихов. Достаточно вспомнить одно из наиболее известных — «Капитаны»:

Пусть безумствует море и хлещет,
Гребни волн поднялись в небеса,—
Ни один пред грозой не трепещет,
Ни один не свернет паруса.

Разве трусам даны эти руки,
Этот острый, уверенный взгляд,
Что умеет на вражьих фелуки
Неожиданно бросить фрегат...

Что касается показаний Таганцева, то главной «улик» против Гумилева, содержащейся в них, оказываются 200 000 рублей и лента для пишущей машинки, переданные неким Шведовым. Что такое были тогда эти 200 000 рублей, мы покажем ниже, ну а лента для пишущей машинки — действительно опасное оружие в руках поэта!

Все остальное в показаниях Таганцева оправдывает Гумилева: и его близость к «совет. ориентации», и отказ от «тем, не отвечающих его далеко не правым взглядам» (то есть скорее — левым, революционным) при составлении возможных прокламаций, и то, что ни одной прокламации он так и не составил, и, наконец, «уклончивый ответ» про «свою» группу.

Кстати, уж не эту ли группу, «готовую выйти на улицу», имел в виду Гумилев (и, вполне возможно, подозревали чекисты), когда составлял для себя какой-то список, ставший впоследствии листом № 73 (правда, не все из этого списка к тому времени были живы — быть может, поэтому остальные не привлекались по «Делу ПБО»?).

Лист № 73.

(Рука Гумилева.— *Ред.*)

Городецкий, Потемкин, Пяст, Анненский, Сологуб, Сергей Соловьев, Бруни, Верховский, Блок, Клюев, Бальмонт, Вячеслав Иванов, Северянин, Хлебников, Лифшиц, Цветаева, Нарбут, Балтрушайтис, Адамович (неразборчиво.— *Ред.*).

Я бы, во всяком случае, не удивился, если б оказалось, что примерно этот круг людей имел в виду Гумилев под «своей группой». Все перечисленные здесь поэты, прозаики, критики, историки — родные братья Гумилева по русской культуре.

Но как же с главным свидетельством против поэта — «200 000 советских рублей и лента для пишущей машинки»? Это были два примерно одинаковых по весомости «вещественных доказательства», потому что тогдашние 200 000 несравнимы с нынешними, даже несмотря на инфляцию. По словам одного из наших старейших поэтов, С. И. Липкина, 40 000 рублей стоил в 1921 году каравай хлеба, то есть на 200 000 рублей можно было купить пять караваев. Покупательную способность этих денег наглядно демонстрирует и лист № 77 — очевидно, записка жене, предписывающая, как именно ей следует распорядиться суммой, которую в июле должно было заплатить Гумилеву издательство.

Лист № 77.

(Рука Гумилева.— *Ред.*)

мне должен 285 000
к 5 июню 85 000
к 20 июню 200 000
возьми к 10 июлю 100 000
Пошли маме 5 июня 45 000
10 — 30 000
20 — 75 000
Тебе остается 5 июля 40 000
10 — 70 000
20 — 2 500

Известны свидетельства одного из последних оставшихся в живых участников тех давних событий — поэтессы и мемуаристки Ирины Одоевцевой, покинувшей родину именно тогда — в 21-м, и недавно вернувшейся. В ее

воспоминаниях о Гумилеве есть противоречия. Но ведь это литературные произведения, а не свидетельские показания. Между тем, в одном из недавних своих интервью, которое она дала автору этих строк (см. «Огонек» № 11 за 1989 год), она утверждает: «Когда говорят, что он (Гумилев.— *Ред.*) отказался от участия в заговоре, никаких денег не брал, я ничего не могу возразить. Но и сейчас повторяю... деньги у него были, лежали в шкафу... Вот никакого револьвера я не видела, это точно, а деньги...— тогда они были обесценены, и это было много пачек — видела у Гумилева своими глазами».

Подобные высказывания Одоевцевой служили в глазах многих косвенным доказательством виновности поэта, за что она не раз подвергалась нападкам со стороны горячих поклонников Гумилева, желавших его безоговорочной реабилитации. Но как мы видим сейчас, нападки эти вряд ли были заслуженными. Для того чтобы истина в конце концов восторжествовала, ей не надо никаких подачек в виде пресловутой лжи во спасение, следует только неукоснительно этой истине держаться, какой бы ни была политическая ситуация, что бы ни казалось на чей-то взгляд сиюминутно выгодным.

Кстати, преувеличивая контрреволюционные «заслуги» Гумилева в своих книжках, издававшихся на Западе, Одоевцева, возможно, преследовала вполне благородную цель: привлечь к его имени интерес западной публики и издателей. Не такая, какой от нее ждали любители литературы в СССР, но тоже «ложь во спасение»!

Ну а по сути правда и то, что свидетельствует Одоевцева, и то, что утверждают почитатели Гумилева: да, деньги — много ничего не стоивших пачек — у него были, и — да, необходима полная реабилитация Гумилева, так как состав преступления в его действиях отсутствует. Но об этом несколько позднее.

Перед нами показания самого поэта:

Листы № 83, 84.

Протокол допроса, произведенного в Петроградской Губернской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией по делу за № 2534 от 9.08.1921 г.

Я, нижеподписавшийся, допрошенный в качестве обвиняемого, показываю:

1. Фамилия Гумилев
2. Имя Отчество Николай Степанович
3. Возраст 34
4. Происхождение из дворян
5. Место жительства Петроград, угол Невского и Мойки, в Доме искусств.
6. Род занятий писатель
7. Семейное положение женат
8. Имущественное положение никакого
9. Партийность беспартийный
10. Политические убеждения аполитичен
11. Образование общее специальное высшее, профессор, филолог
12. Чем занимался, где служил
 - а) до войны 1914 года литературой, здесь и за границей
 - б) до Февральской революции 1917 года тоже
 - в) до Октябрьской революции 1917 года на военной службе в качестве вольноопределяющегося, а потом — прапорщик.
 - г) с Октябрьской революции до ареста в 18 году приехал из Лондона в Петроград и до ареста находился членом коллегии экспертов издательства «Всемирная литература».
13. Сведения о прежней судимости никаких

Лист № 85.

Показания по существу дела: Месяца три тому назад ко мне утром пришел молодой человек высокого роста и бритый, сообщивший, что привез мне поклон из Москвы. Я пригласил его войти, и мы беседовали минут двадцать на городские темы. В конце беседы он обещал мне показать имеющиеся в распоряжении русские заграничные издания. Через несколько дней он действительно принес мне несколько номеров каких-то газет. И оставил у меня, несмотря на заявление, что я в них не нуждаюсь. Прочтя эти номера и не найдя в них ничего для меня интересного, я их сжег. Приблизительно через неделю он пришел опять и стал спрашивать меня, не знаю ли я кого-нибудь, желающего работать для контрреволюции. Я объяснил, что никого такого не знаю, тогда он указал на незначительность работы: добывание разных сведений и настроений, раздачу листовок и сообщил, что эта работа может оплачиваться. Тогда я отказался продолжать разговор с ним на эту тему, и он ушел. Фамилию свою он назвал мне,

представляясь. Я ее забыл, но она была не Герман и не Шведов.

Н. Гумилев

Лист № 86.

Протокол допроса гр. Гумилева Николая Степановича

Допрошенный следователем Яacobсоном, я показываю следующее: летом прошлого года я был знаком с поэтом Борисом Вериным и беседовал с ним на политические темы, горько сетуя на подавление частной инициативы в Советской России. Осенью он уехал в Финляндию, через месяц я получил в мое отсутствие от него записку, сообщавшую, что он доехал благополучно и хорошо устроился. Затем, зимой, перед Рождеством ко мне пришла немолодая дама, которая мне передала недописанную записку, содержащую ряд вопросов, связанных, очевидно, с заграничным шпионажем, например, сведения о готовящемся походе на Индию. Я ответил ей, что никаких таких сведений я давать не хочу, и она ушла.

Затем, в начале Кронштадтского восстания ко мне пришел Вячеславский с предложением доставлять для него сведения и принять участие в восстании, буде оно переносится в Петроград. От дачи сведений я отказался, а на выступление согласился, причем указал, что мне, по всей вероятности, удастся в момент выступления собрать и повести за собой кучку прохожих, пользуясь общим оппозиционным настроением. Я выразил также согласие на попытку написания контрреволюционных стихов. Дней через пять он пришел ко мне опять, вел те же разговоры и предложил гектографировальную ленту и деньги на расходы, связанные с выступлением. Я не взял ни того, ни другого, указав, что не знаю, удастся ли мне использовать ленту. Через несколько дней он зашел опять, и я определенно ответил, что ленту я не беру, не будучи в состоянии использовать, а деньги 200 000 взял на всякий случай и держал их в столе, ожидая или событий, то есть восстания в городе, или прихода Вячеславского, чтобы вернуть их, потому что после падения Кронштадта я резко изменил мое отношение к Советской власти. С тех пор ни Вячеславский, никто другой с подобными разговорами ко мне не приходили и я предал все забвению.

В добавление сообщаю, что я действительно сказал Вячеславскому, что могу собрать активную группу из моих

товарищей, бывших офицеров, что являлось легкомыслием с моей стороны, потому что я с ними встречался лишь случайно и исполнить мое обещание мне было бы крайне затруднительно.

Гумилев

Допросил Якобсон 18.8.1921 г..

Лист № 87.

(Машинопись.— *Ред.*)

Продолжительное (? — *Ред.*) показание гр. Гумилева Николая Степановича 20.08.1921 г.

Допрошенный следователем Якобсоном, я показываю: сим подтверждаю, что Вячеславский был у меня один, и я, говоря с ним о группе лиц, могущих принять участие в восстании, имел в виду не кого-нибудь определенного, а просто человек десять встречных знакомых, из числа бывших офицеров, способных, в свою очередь, организовать и повести за собой добровольцев, которые, по моему мнению, не замедлили бы примкнуть к уже составившейся кучке. Я, может быть, не вполне ясно выразился относительно такового характера этой группы, но сделал это сознательно, не желая быть простым исполнителем директив неизвестных мне людей, и сохранить мою независимость. Однако я указывал Вячеславскому, что, по моему мнению, это единственный путь, по которому действительно совершается переворот, и что я против подготовительной работы, считая ее бесполезной и опасной. Фамилии лиц я назвать не могу, потому что не имел в виду никого в отдельности, а просто думал встретить в нужный момент подходящих по убеждению мужественных и решительных людей. Относительно предложения Вячеславского я ни с кем не советовался, но возможно, что говорил о нем в туманной форме.

Н. Гумилев

Выделим несколько моментов из этого документа. Начнем с последнего: «возможно, что говорил» о предложении участвовать в контрреволюционной организации «в туманной форме». Вот это не полная правда! Какое уж тут «возможно», если и той же И. Одоевцевой, одной из многочисленных своих учениц, и поэтам М. Кузмину, Г. Иванову, и многим другим знакомым литераторам Гумилев «таин-

ственно» намекал на свою причастность к «организации». Вот что вспоминает Одоевцева: «Гумилев был страшно легкомысленным... Как-то, когда мы возвращались с поэтического вечера, Гумилев сказал, что достал револьвер — „пять дней охотился“. Об этом я рассказывала, но то, что „Гумилев всем показывал револьвер“, не говорила и не писала никогда — это игра Гумилева в солдатики. Может быть, все было игрой... Кузмин однажды сказал: „Доиграетесь, Коленька, до беды!“ Гумилев уверял: „Это совсем не опасно — они не посмеют меня тронуть“... Отметим это ощущение от поведения Гумилева, как от игры, а также его олимпийскую уверенность в своей неприкосновенности.

Что же касается злосчастных денег, представляется любопытным, что взял он их не сразу, и «на всякий случай». При многочисленных — как у Пушкина перед роковой дуэлью — листочках с денежными расчетами, которые впоследствии стали листами «дела», возникает мысль: уж не для покрытия ли финансовой брешки Гумилев согласился, наконец, их взять? Тем более изъято у него при обыске только 16 000 рублей. Поскольку от ленты Гумилев отказался, никаких прокламаций, так же как и контрреволюционных стихов, никогда не писал (соответственно в «деле» они отсутствуют), то есть трат на «организацию» не производил, более того, считал всякую «подготовительную работу бесполезной и опасной», остается предположить, что деньги у него ушли на то, чтобы поддержать в голодный год свою семью и друзей, более близких поэту, чем Мариэтта Шагинян, с которой он взял расписку. Кстати, удивительно, что писательница, будущий автор Ленинианы, не привлекалась по делу Гумилева — а ну как она использовала занятые деньги на то, чтобы съесть каравай хлеба и укрепить таким образом свои силы для борьбы с молодой Советской республикой?

Теперь о тех, кого Гумилев собирался «привлечь к контрреволюции»: сначала это «кучка прохожих», которая «при общем оппозиционном настроении» пошла бы за ним (известным поэтом), затем — группа из «товарищей, бывших офицеров, что являлось легкомыслием» и, наконец, — «не имел в виду никого в отдельности».

Думаю, что все это соответствует истине (с той оговоркой, что ни одного конкретного человека Гумилев не хотел подвергать опасности) — точнее, истине момента, той мгновенной фантастической и романтической картине,

которая возникла в воображении поэта, когда он представил себя чуть ли не одним из вождей восстания (помните: «сохранить мою независимость?»), свергающего жестокую власть — власть, подавляющую «частную инициативу в Советской России», попирающую представления поэта о свободе и демократии.

Впрочем, поэт всегда в оппозиции...

Потом, после подавления кронштадтского мятежа, фантастическая картина, которая рисовалась Гумилеву, поблекла. Очевидно, он смирился с незыблемостью «существующей в России власти».

Лист № 88.

(Машинопись.— *Ред.*)

23.8.1921 г.

Допрошенный следователем Якобсоном, я показываю следующее: никаких фамилий, могущих принести какую-нибудь пользу организации Таганцева путем установления между ними связей, я не знаю и потому назвать не могу. Чувствую себя виновным по отношению к существующей в России власти в том, что в дни Кронштадтского восстания был готов принять участие в восстании, если бы оно перекинулось в Петроград, и вел по этому поводу разговоры с Вячеславским.

От листа к листу «дела» у всех, кто получил возможность с ним ознакомиться, усугублялось одно и то же ощущение — нарастающее давление следователя Якобсона на своего подследственного. Вот что пишет Сергей Лукницкий в «Московских новостях» (№ 48, 1989 г.): «Вызывает недоумение и то, что с каждой страницей обвинение становится все более расплывчатым, а Гумилев дает все более самообличительные показания, отвечает на незадаанные вопросы. Вспомнил каких-то лиц, якобы приходивших к нему с поручением... Подтвердили ли эти визиты и таинственный Верин, и бритоголовый москвич, или, может быть, пожилая дама, интересовавшаяся Индией, после успешных поисков была обнаружена следствием, допрошена и дала показания против Гумилева? Никто не найден, и никто не допрошен. Тогда, может быть, Герман и Шведов (Вячеславский) подтвердили показания против Гумилева? В деле показаний Германа и Шведова нет и не может быть. КГБ СССР выяснил: Ю. П. Герман,

морской офицер, убит погранохраной 30.5.21 года при попытке перехода финской границы, а В. Г. Шведов, подполковник, был смертельно ранен чекистами во время ареста в Петрограде 3.8.21 года. То есть обоих не было на свете еще до начала производства по делу Гумилева...»

Таким образом, обвинению послужили только никем не проверенные и не доказанные показания одного человека — В. Таганцева (а ведь бывают и лжесвидетельства, например, по личным мотивам, — но следователя такие «тонкости» явно не заботили).

По сути дела, кроме этих показаний, все обвинение строится на словах самого Гумилева. Но что же он, неужели не понимал, что ему грозит? Не лучше ли было до конца все отрицать, «уйти в неосознанку», пользуясь современным уголовным жаргоном?

Возможно, и не понимал — вспомните: «Они не посмеют меня тронуть». Во всяком случае, Гумилев наверняка считал, что только за взгляды (а действий-то не было никаких!), к тому же «пересмотренные», его не может ждать жестокая кара. И еще одно — не соответствовала его представлению о профессиональной этике поэта ложь — пусть даже во спасение себя, но ведь ложь, могущая представить клеветником другого человека (в данном случае профессора В. Таганцева).

К тому же перед глазами наверняка был пример Пушкина, который, как известно, сам донес на себя Николаю, утвердительно ответив на его вопрос, был ли бы он на Сенатской площади 14 декабря, окажись в это время в Петербурге. Кстати, так же, по-пушкински, поступили позднее О. Мандельштам, сделавший своей рукой список стихотворений-улик про кремлевского горца (см. «Огонек» № 47, 1988 г.), и Н. Клюев, подтвердивший на Лубянке авторство всех своих самых «крамольных» стихов (см. «Огонек» № 43, 1989 г.).

Да, на этапе «соцреализма» в духовном развитии нашего общества мы бесконечно многое потеряли в сравнении с пушкинским и гумилевским романтизмом. И уж наверняка нет у нас никаких оснований смотреть со взрослой снисходительностью знающих истину потомков на поступки этих двух поэтов. Зато есть все основания посмотреть на себя и ужаснуться тому, что уже стало для нас нормой...

Ну, а дальше в «деле» после машинописной копии предыдущих листов, заявления от зав. литературным отде-

лом Дома искусств с просьбой взять из квартиры Гумилева необходимые их «учебному заведению» книги, и документов, свидетельствующих о найме Гумилевым квартиры, следует

Лист 102.

Заключение

по делу № 2534 Гумилева Николая Станиславовича (зачеркнуто, написано сверху чернилами «Степановича». — *Ред.*), обвиняемого в причастности к контрреволюционной организации Таганцева (Петроградской боевой организации) и связанных с ней организаций и групп.

Следствием установлено, что дело гр. Гумилева Николая Станиславовича (зачеркнуто, написано сверху чернилами «Степановича». — *Ред.*), 35 лет, происходит из дворян, проживает в г. Петрограде, угол Невского и Мойки, в Доме искусств, поэт, женат, беспартийный, окончил высшее учебное заведение, филолог, член коллегии издательства «Всемирной литературы», возникло на основании показаний Таганцева — руководителя указанной организации (см. протокол допроса Таганцева от 6.8.1921 г.), в которых он показывает следующее: «Гражданин Гумилев утверждал курьеру финской контрразведки Герману, что он, Гумилев, связан с группой интеллигентов, которой последний может распоряжаться и которая в случае выступления готова выйти на улицу для активной борьбы с большевиками, но желал бы иметь в распоряжении некоторую сумму для технических надобностей. Чтоб проверить надежность Гумилева, организация Таганцева командировала члена организации гр. Шведова для ведения окончательных переговоров с гр. Гумилевым. Последний взял на себя оказать активное содействие в борьбе с большевиками и составлении прокламаций контрреволюционного характера. На расходы Гумилеву было выдано 200 000 рублей советскими деньгами и лента для пишущей машины (увы, гражданин следовательно, с лентой-то подтасовка получается! — *Ред.*).

В своих показаниях гр. Гумилев подтверждает вышеуказанные против него обвинения и виновность в желании оказать содействие контрреволюционной организации Таганцева, выразив, в подготовке кадров интеллигентов для борьбы с большевиками и в сочинении прокламаций контр-

революционного характера (где же они, эти прокламации, гражданин следователь? — *Ред.*).

Признает своим показанием: гр. Гумилев подтверждает получку денег от организации в сумме 200 000 рублей для технических надобностей.

В своем первом показании гр. Гумилев совершенно отрицал его причастность к контрреволюционной организации и на все заданные вопросы отвечал отрицательно.

Виновность в контрреволюционной организации гр. Гумилева Н. Ст. на основании протокола Таганцева и его подтверждения вполне доказана (интересно, по каким законам? — *Ред.*).

На основании вышеизложенного считаю необходимым применить по отношению к гр. Гумилеву Николаю Станиславовичу¹ как явному врагу народа и рабоче-крестьянской революции высшую меру наказания — расстрел.

Следователь (Якобсон).

(Подпись синим карандашом.— *Ред.*).

Оперуполномоченный ВЧК

(Подпись отсутствует.— *Ред.*)».

Как видите, даже не печально известная нам по сталинским временам тройка приговорила к смерти поэта. Хватило и одной подписи одного человека, а по сути дела — чиновника с чрезвычайными полномочиями. Как осязаемо и конкретно подтвердились слова Блока, ушедшего из жизни незадолго до Гумилева и, что называется, все понявшего: «Чиновник — враг поэта!» (Потом они подтвердятся еще много раз в сталинскую эпоху и после нее — на собрании СП по исключению Пастернака, на московских похоронах Ахматовой, когда писательские чиновники отказались предоставить ЦДЛ для гражданской панихиды, на судилище над Бродским — список далеко не полный и не закрытый.)

Но в деле Гумилева даже свои чрезвычайные полномочия чиновники «с холодной головой и чистыми (как перед вивисекцией) руками» сильно преувеличили. Не имели они права, по принятому в январе 1920 года постанов-

¹ Исправления отчества красными и черными чернилами, очевидно, сделаны в разное время, гораздо позднее, и, судя по тому, что исправлено не во всех случаях, — не самим следователем Якобсоном. Обвинение, вообще говоря, вынесено другому человеку. (*Ред.*)

лению, брать на себя функцию суда! И все же взяли. И никто им не помешал. А пытались ли?

Существует трогательная легенда о том, как Горький приходил к Ленину просить за Гумилева, а тот будто бы сказал: «Пусть лучше будет больше одним контрреволюционером, чем меньше одним поэтом!» — и послал срочную телеграмму с просьбой о помиловании, да вот новый отец Петрограда Зиновьев не послушался самого человеческого человека... К сожалению (для Горького и Ленина), это не более чем сказка, к тому же очень полезная и поучительная, — про хорошего царя и плохих бояр — не зря она активно распространялась в период борьбы Сталина с зиновьевско-каменевской оппозицией. Кстати, дорогой читатель, не слышится ли вам во фразе, приписываемой Ленину, кавказский акцент, для Ильича, как известно, не характерный? Не просвечивает ли в ней сталинская любовь к примитивной афористичности?

Все, что в «деле» Гумилева подтверждает достоверность попыток спасти поэта, — одна машинописная копия прошения о помиловании:

Лист № 103.

В Президиум Петроградской Губернской Чрезвычайной Комиссии

Председатель Петроградского отделения Всероссийского союза поэтов, член Редакционной коллегии государственного издательства «Всемирная литература», член Высшего совета Дома искусств, член Комитета Дома литераторов, преподаватель пролеткульта, профессор Российского института истории искусств Николай Степанович Гумилев арестован по ордеру Губ. Ч. К. в начале текущего месяца.

Ввиду деятельного участия Н. С. Гумилева во всех указанных учреждениях и высокого его значения для русской литературы, нижепоименованные учреждения ходатайствуют об освобождении Н. С. Гумилева под их поручительство.

(Чернила. — *Ред.*)

Председатель Петроградского отдела
Всероссийского Союза писателей

А. Л. Вольтинский

Товарищ председателя Петроградского отделения
Всероссийского Союза поэтов

М. Лозинский

Председатель коллегии по управлению
Домом литераторов

Б. Харитон
Председатель ПРОЛЕТКУЛЬТ А. Маширов
Председатель Высшего совета Дома искусств
М. Горький

(Машинопись.— *Ред.*)

Член издательской коллегии

«Всемирной литературы»

(Машинопись.— *Ред.*)

Ив. М. (неразборчиво.— *Ред.*)

Увы, это прошение осталось неудовлетворенным. Большевистская власть с самого своего рождения умела себя защищать от «опасных элементов». На ее стражей в лице Петроградского Губ. Ч. К. авторитет Горького и других писателей не подействовал.

Лист № 104.

Выписка из протокола заседания Президиума Петрогуб. Ч. К. от 24.8.21 года:

«Гумилев Николай Степанович, 35 лет, б. дворянин, филолог, член коллегии издательства «Всемирная литература», женат, беспартийный, б. офицер, участник Петроградской боевой контрреволюционной организации, активно содействовал составлению прокламаций контрреволюционного содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, кадровых офицеров, которые активно примут участие в восстании, получил от организации деньги на технические надобности».

(Справа приписка.— *Ред.*)

«Приговорить к высшей мере наказания — расстрелу».

Приговор был приведен в исполнение.

А. А. Ахматова и П. Н. Лукницкий впоследствии установили место расстрела и составили его план.

Чья пуля его убила? Так ли это важно? В сущности, того самого рабочего, только не германского, как предполагал Гумилев, когда писал свои знаменитые стихи времен первой мировой войны, а своего, российского:

Он стоит пред раскаленным горном,
Невысокий старый человек.

Взгляд спокойный кажется покорным
От миганья красноватых век.

Все товарищи его заснули,
Только он один еще не спит,
Все он занят отливаньем пули,
Что меня с землею разлучит.

.

Упаду, смертельно затоскую,
Прошное увижу наяву,
Кровь ключом захлещет на сухую,
Пыльную и мятую траву.

И Господь воздаст мне полной мерой
За недолгий мой и горький век.
Это сделал в блузе светло-серой
Невысокий старый человек.

...Ну, а заканчивается «дело» очень спокойными и будничными листами переписки с домоуправлением по поводу квартиры, мебели, вещей, оставшихся в Доме искусств. И такой вот справкой:

Лист № 107.

Удостоверяю, что квартира № 2 по Преображенской улице, 5-7 в марте 19 года взята во временное пользование со всей обстановкой и инвентарем моим покойным мужем Н. С. Гумилевым у С. В. Штюрмера, а поэтому вся в ней обстановка принадлежит Штюрмеру, кроме 1303 экз. книг, принадлежат моему мужу Н. С. Гумилеву.

Анна Гумилева

22 сентября 1921 г.

ДКТ заверяет правильность подписи.

Председатель ДКТ Прокофьев
(две печати и штамп домоуправления.— *Ред.*)

В этом последнем листе «дела» все правильно: ничего, кроме книг, после смерти поэта не остается. Только книг после смерти Гумилева осталось меньше, чем должно было,— налицо еще одно — помимо убийства — уголовное преступление: обворовали его современников, обворовали нас с вами.

Мы так никогда и не узнаем, какой высоты мог достичь Гумилев,— он менялся, был молод и возрастом, и духом. Он бы столько всего еще мог написать! Бесспорно знаем мы только одно: Гумилев был Поэтом — и в жизни, и по тому пророческому дару, который сопутствует большим поэтам в России. Не напрасно так навязчива в его стихах тема собственной насильственной смерти, даже конкретнее — расстрела. Возможно, он сам подсознательно толкал себя к осуществлению своего предсказания? И все же предсказание не осуществилось бы, не будь наш российский бунт «бессмысленным и беспощадным», окажись вожди нашей революции если не гуманнее, то хотя бы гуманитарнее — ближе к русской культуре.

Суть гумилевского «дела» не в «пожелтевших листах» — из них следует только одно: не виновен,— а именно в его «шагреновом переплете». Еще один миф. Ничто, выросшее в Нечто. В крайнем случае — игра в солдатики, которую засекретили до такой степени, что (как пелось в популярной песенке образца семидесятых) «город подумал: ученья идут».

И не стоит, по-моему, даже рассуждать о том — как это делает Г. А. Терехов, прокурор по надзору за КГБ,— что вина Гумилева заключалась в «недонесении» («Новый мир» № 12, 1987 г.). Если на этом основании мы не реабилитируем Гумилева, мы таким образом морально и юридически узаконим действия всех — виновных в смертях и исковерканных судьбах — доносчиков сталинского и других недавних периодов нашей истории, многие из которых поныне спокойно живут и здравствуют. В конце концов — да простится мне юридическая наивность — закон должен конкретизировать нравственность, а не канонизировать преступление, подлость и малодушие. Поэт, дворянин, русский офицер Н. С. Гумилев погиб, потому что был, как его великий предшественник, невольником чести.

Олег Хлебников



Ян Леопольдович ЛАРРИ

1900—1977

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Ларри Ян Леопольдович, 1900 года рождения, уроженец г. Риги, латыш, гражданин СССР, беспартийный, литератор (работал по трудовому договору), проживал: Ленинград, пр. 25-го Октября, д. 112, кв. 39
жена Ларри Прасковья Ивановна, 1902 года рождения
сын — Ларри Оскар Янович, 1928 года рождения
Арестован 13 апреля 1941 года Управлением НКГБ по Ленинградской области.

Выдержка из постановления на арест (утверждено 11 апреля 1941 года):

«...Ларри Я. Л. является автором анонимной повести контрреволюционного содержания под названием „Небесный гость“, которую переслал отдельными главами в адрес ЦК ВКП(б) на имя товарища Сталина.

С 17 декабря 1940 года по настоящее время переслал в указанный адрес 7 глав еще незаконченной своей контр-

революционной повести, в которой с контрреволюционных троцкистских позиций критикует мероприятия ВКП(б) и Советского правительства».

В обвинительном заключении (10 июня 1941 года):

«...Посылаемые Ларри в адрес ЦК ВКП(б) главы этой повести написаны им с антисоветских позиций, где он извращал советскую действительность в СССР, привел ряд антисоветских клеветнических измышлений о положении трудящихся в Советском Союзе.

Кроме того, в этой повести Ларри также пытался дискредитировать комсомольскую организацию, советскую литературу, прессу и другие проводимые мероприятия Советской власти».

Обвинялся по ст. 58-10 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда).

5 июля 1941 года Судебная Коллегия по уголовным делам Ленинградского городского суда приговорила Ларри Я. Л. к лишению свободы сроком на 10 лет с последующим поражением в правах сроком на 5 лет.

Постановлением Судебной Коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР от 21 августа 1956 года приговор Ленинградского городского суда от 5 июля 1941 года в отношении Ларри Я. Л. отменен, и дело прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Ларри Я. Л. по данному делу реабилитирован.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Ларри Ян Леопольдович (15.II.1900, Рига — 18.III. 1977, Ленинград), прозаик, детский писатель. Рано осиротел. До революции был учеником часовщика, сменил много других занятий, бродяжничал. Участник гражданской войны. Работал в газетах и журналах Харькова, Новгорода, Ленинграда. В Ленинград переехал в 1926 году. Окончил Ленинградский университет (1931). Учился в аспирантуре Всесоюзного научно-исследовательского института рыбного хозяйства. Написал сценарий фильма «Человек за бортом» (1931, в соавторстве с П. Стельмахом). Автобиографическую заметку см. в книге «Редактор и книга» (1963, вып. 4).

Грустные и смешные истории о маленьких людях. Харьков, 1926; Пять лет. Л., 1929 и др. изд.— В соавторстве с А. Лифшицем; Окно в будущее. Л., 1929; Как это было. Л., 1930; Записки конноармейца. Л., 1931; Страна счастливых. Л., 1931; Необыкновенные приключения Карика и Вали: Научно-фантастическая повесть. М.—Л., 1937 и др. изд.; Записки школьницы: Повесть. Л., 1961; Удивительные приключения Кука и Кукки. Л., 1961; Храбрый Тилли: Записки щенка, написанные хвостом. «Мурзилка», 1970, № 9—12.

КАК ПИСАТЕЛЬ ЯН ЛАРРИ СТАЛИНА ПРОСВЕЩАЛ

Поколение революции, опаленное огнем гражданской войны, зачарованное перспективами строительства нового общества, в большинстве своем свято верило, что светлое будущее не за горами и что трудности по пути к нему окупятся сторицей. Мне приходилось говорить со многими людьми, чья молодость пришлась на 30-е годы — у них не возникало и малейшего сомнения в правильности политики государства. Лозунги, провозглашаемые партией, призывы, даже порой нелепые, воспринимались исключительно как побуждающие к действию. И репрессии, о которых, несмотря на чудовищный масштаб, не принято было говорить вслух, — тоже, как меры правильные, не подлежащие критике, как справедливое наказание за поступки, если учесть напряженную международную обстановку. Причины и механизм этого массового гипноза, охватившего десятки миллионов людей, еще долго будут предметом исследования историков, социологов и психологов.

Однако не все было светло и гладко в царстве социализма. Люди, которые в силу своего интеллекта, особенностей души, не могли не задумываться о происходящем вокруг, неизбежно замечали нелогичность и нецелесообразность многих правительственных акций, скудость загнившей в казармы жизни. И не сказать об этом были не в силах.

Я не уверена, что герой моего очерка понял до конца вопиющую жестокость строя, который выдавали за исполнение вековой мечты человечества — на это требуется

и время и взгляд «извне» на собственную историю. Допускаю, что он не сумел до конца разобраться и в механизме общественных течений, иначе не стал бы делать то, что сделал, — с риском для жизни открывать глаза «глубокоуважаемому Иосифу Виссарионовичу» на то, что происходит в стране. Впрочем, тогда многие верили в непогрешимость вождя и учителя, а все беды, трудности и несправедливости приписывали ошибочным или нечестным действиям его окружения.

В начале 1940 года на имя И. В. Сталина из Ленинграда ушло письмо. Оно содержало литературную рукопись.

«Я буду писать только для Вас, не требуя для себя ни орденов, ни гонорара, ни почестей, ни славы...

...я хотел бы, чтобы Вы знали, что есть в Ленинграде один чудак, который своеобразно проводит часы своего досуга — создает литературное произведение для единственного человека...» — сообщил неизвестный адресат.

К письму приложена фантастическая повесть. Сюжет ее довольно прост. На Землю (в район Ленинградской области) опускается космический корабль с марсианином, существом, довольно близким нам, землянам. В беседах с гостеприимными хозяевами выясняется — как бы несколько со стороны — положение нашего общества, деформированного гнетом партийной администрации.

«Чем вы живете? — спрашивает автор устами марсианина. — Какие проблемы волнуют вас? Судя по вашим газетам, вы только и занимаетесь тем, что выступаете с яркими содержательными речами на собраниях... А разве ваше настоящее так уж отвратительно, что вы ничего не пишете о нем? И почему никто из вас не смотрит в будущее? Неужели оно такое мрачное, что вы боитесь заглянуть в него?»

— Не принято у нас смотреть в будущее, — отвечали марсианину».

О многом там было написано. О вопиющей российской бедности, причиной которой — так объясняли марсианину — «является... гипертрофическая централизация всего нашего аппарата, связывающая по рукам и ногам инициативу на местах». О том, что «Москва стала единственным городом, где люди живут, а все остальные города превратились в глухую провинцию, где люди существуют только для того, чтобы выполнять распоряжения Москвы». О том, что в нашей стране не знают своих ученых. О ненависти к интеллигенции: и хотя «было вынесено решение:

считать интеллигенцию полезной общественной прослойкой», ничего не изменилось. И о том, что во времена Иоанна Первпечатника выходило больше книг, чем сейчас. «Я не говорю о партийной литературе, которую выбрасывают ежедневно в миллионах экземпляров», — писал неизвестный автор.

В Москву было отправлено еще несколько писем с продолжением повести. Через четыре месяца автора «вычислили».

В постановлении на арест от 11 апреля 1941 года было сказано: «...Ларри Ян Леопольдович является автором анонимной повести контрреволюционного содержания под названием „Небесный гость“, которую переслал отдельными главами в адрес ЦК ВКП(б) на имя тов. Сталина».

Писателю Яну Ларри инкриминировали критику мероприятий ЦК ВКП(б) и Советского правительства с троцкистских позиций. В обвинительном заключении ему приписывали «извращение советской действительности, антисоветские клеветнические измышления о положении трудящихся в Советском Союзе, попытки дискредитировать комсомольскую организацию и другие мероприятия Советской власти».

Обычно материалы «творческого характера», изымаемые при аресте, уничтожались. Но волею судеб «Небесный гость» Яна Ларри уцелел и спустя почти полвека рукопись была передана в Союз писателей. И смогла увидеть свет.

Судили Яна Леопольдовича Ларри 3 июля 1941 года. Обвинение по печально известной статье 58-10 означало десять лет лишения свободы с последующим поражением в правах сроком на пять лет.

Спустя пятнадцать лет приговор в отношении Я. Л. Ларри был отменен, и дело прекращено за отсутствием состава преступления.

Автор неизвестного советскому читателю «Небесного гостя» и весьма популярной, одной из лучших фантастических книг для детей «Необыкновенные приключения Карика и Вали» был реабилитирован. К счастью, не посмертно.

Ян Леопольдович Ларри родился в 1900 году в Риге — по официальной версии (под Москвой, как он уточнил это в автобиографии). Детство его прошло под Москвой, где работал отец. Но с первых лет жизнь Яна Ларри была отмечена цепочкой несчастий. Рано умерла мать. В десятилетнем возрасте мальчик лишился отца.

Попытки устроить осиротевшего ребенка в детский приют оказались неудачными — Ян сбежал оттуда. В судьбе беспризорника принял участие педагог Доброхотов, подготовивший Яна экстерном за курс гимназии. Некоторое время Ларри жил в семье учителя. Но во время первой мировой войны Доброхотова призвали в армию, и снова Ларри «промышлял», где придется.

После революции он приехал в Петроград, предполагая, что знаний, полученных у Доброхотова, достаточно для поступления в университет. Но надеждам этим не суждено было сбыться.

Снова бродяжничество. Через случайно встреченных друзей покойного отца Ларри вступает в Красную Армию. Тиф надолго укладывает молодого человека в госпиталь. В итоге потеряны следы батальона. Возвратный тиф снова вырывает юношу из активной жизни. После выздоровления — дальнейшие скитания по России.

Писать Ян Ларри начал в 1923 году. Первые публикации в харьковской газете «Молодой ленинец» обратили на себя внимание. Ларри предложили штатную работу. С этого момента Ян Леопольдович мог считать себя журналистом и литератором.

В Харькове Ян Ларри выпустил свои первые книги.

В Ленинград он вновь приехал спустя три года уже профессиональным литератором. Работал секретарем журнала «Рабселькор», затем в газете «Ленинградская правда». Зарекомендовал себя как детский писатель. Трудился как журналист, а с 1928 года перешел на вольные «литературные хлеба».

Эта кажущаяся легкость путешествия по жизненным перекресткам была чисто внешней. В 30-е годы, вспоминал Ян Леопольдович, детскому писателю в СССР было нелегко: «Вокруг детской книги лихо канканировали компрачкосы детских душ — педагоги, „марксистические ханжи“ и другие разновидности душителей всего живого, когда фантастику и сказки выжигали каленым железом...»

«Мои рукописи,— писал впоследствии Ян Леопольдович,— так редактировали, что я и сам не узнавал собственных произведений, ибо кроме редакторов книги, деятельное участие принимали в исправлении „опусов“ все, у кого было свободное время, начиная от редактора издательства и кончая работниками бухгалтерии».

Редакторы самым бесцеремонным образом вмешивались в авторский текст, «вымарывая из рукописи целые

главы, вписывая целые абзацы, изменяя по своему вкусу сюжет, характеры героев...»

«Все, что редакторы „улучшали“, выглядело настолько убого, что теперь мне стыдно считаться автором тех книжек», — с горечью отмечает Ларри.

Редакторский произвол, чудовищное бесправие автора отбили у Ларри желание заниматься литературой и, как знать, возможно, страна потеряла бы отличного детского фантаста, каких и в более благоприятные времена можно было пересчитать по пальцам, если бы не встреча с настоящим редактором. Им был — и для Ларри и для многих детских писателей той поры — С. Я. Маршак.

Но встрече с Маршаком предшествовал еще один поворот в судьбе Яна Ларри. После выхода в свет нескольких книг, оставивших в душе писателя горький осадок, Ларри, по его словам, решил «переквалифицироваться».

Он поступил на работу во Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства. Разумеется, порвать с литературой Ян Леопольдович не смог. Он печатал статьи и фельетоны в ленинградских газетах, что-то редактировал по службе и среди своих коллег считался, как он потом писал не без иронии, чуть ли не классиком литературы.

Когда к шефу Ларри академику Л. С. Бергу обратился С. Я. Маршак с предложением написать книгу для детей познавательного характера, эта просьба была переадресована Яну Ларри. Тему будущей книги выбирали совместно с академиком Бергом. Решили остановиться на энтомологии — области зоологии, которая наиболее изобиловала белыми пятнами.

И вот книга была написана. Автор назвал ее «Необыкновенные приключения Карики и Вали». Фантастический прием, положенный в основу сюжета, был довольно прост: превращение двух детей и профессора-энтомолога в маленькие по размерам существа, которым пришлось с риском для жизни путешествовать в огромном мире, населенном страшными хищными насекомыми и растениями. Но фантастический прием был, пожалуй, единственной возможностью, позволяющей проникнуть в мир, недоступный обычному взгляду.

Увы, первая же рецензия, полученная от Московского Детгиза, камня на камне не оставляла от авторского замысла: «Неправильно принижать человека до маленького насекомого. Так вольно или невольно мы показываем

человека не как властелина природы, а как беспомощное существо», — поучали молодого писателя. «Говоря с маленькими школьниками о природе, мы должны внушать им мысль о возможном воздействии на природу в нужном нам направлении».

«Не ждать милостей от природы», приспособить ее, заставить, поломать... Это воспитание людей в духе конфронтации с природой и десятилетия спустя заставит нас платить по ее счетам. Не пройдет и полвека, как экологический кризис заставит нас вспомнить о том, что мы — всего лишь часть Природы, а не повелители ее. С горькой иронией будем мы вспоминать победные марши еще недавнего прошлого: «Нам нет преград...» Но сейчас речь идет о другом — о трансформации писательской судьбы в идеологической мясорубке.

По-видимому, у Ларри не возникал вопрос — переделывать ли книгу в угоду издательским вкусам. Он был уверен: если книга не может зарекомендовать себя, то автору лучше воздержаться от выпуска ее на книжный рынок. Но и богатый материал для сомнений в редакторской компетентности у Ларри тоже имелся. После некоторых колебаний Ларри решил написать Маршаку. Судьба «Карика и Вали» решилась в течение недели.

«Повесть я читал, — сообщил Самуил Яковлевич автору. — С интересом читал. Ее можно печатать, ничего не изменяя. Но если поработать над текстом, то это будет уже не просто интересная книга, но отличная во всех отношениях».

О Маршаке-редакторе написано немало. Каждого, кто попадал в орбиту его внимания, Самуил Яковлевич рассматривал как человека, который может, а потому просто обязан поделиться с детьми-читателями своими знаниями, опытом, наблюдениями.

Работа с Маршаком переменяла мнение Ларри о редакторском корпусе, подкрепленное его печальным опытом: «С первого же часа работы с Маршаком, меня поразило его исключительное уважение к авторской работе». Маршак терпеливо заставлял автора искать в случае необходимости «более емкое слово».

«Писать надо просто, — говорил Маршак. — Слова должны быть ясными, чистыми... Пишите проще! И только о том, что вас действительно волнует! И только тогда, когда вы действительно чувствуете, что не можете не писать об этом!»

Повесть «Необыкновенные приключения Карика и Вали» увидела свет благодаря активному вмешательству Маршака. И выдержала четыре издания. Рецензенты отмечали «полную научную доброкачественность сообщаемых в книге сведений», хорошее знакомство автора с энтомологией. Отмечали, что юным читателям, безусловно, нужна книга, вводящая в круг вопросов, которыми занимается та или иная наука, а «введение в науку» обязательно должно основываться на принципе занимательности — ведь оно рассчитано на читателя, еще не интересующегося научным содержанием. В этом особенности и научно-популярной литературы для детей и детской фантастики. Авторы литературы подобного рода просто обязаны найти какой-то увлекающий ребенка прием. Яну Ларри это удалось. В «Необыкновенных приключениях...» научные сведения органично вплетаются в острый сюжет. И книга Ларри с полным правом может считаться одной из лучших отечественных природоведческих книг для самых маленьких читателей.

После XX съезда Яна Леопольдовича Ларри реабилитировали. Он вновь включился в литературную работу. Появились журнальные публикации, адресованные малышам. Вышли отдельными изданиями его повести для детей.

Пятнадцатилетнее пребывание в ГУЛАГе не сломило писателя, не выбило его из седла, но едва ли могло прибавить сил и здоровья.

18 марта 1977 года его не стало.

Теперь, по прошествии времени, когда из спецхранов и архивов хлынула информация, позволяющая осмыслить природу нашего строя и чудовищные последствия жестокого социального эксперимента, мы узнаем и имена тех, кто несмотря на лживость лозунгов, гипноз пропаганды, почти языческую веру народа в непогрешимость вождей, смогли восстановить истинную картину происходящего с нашей страной и запечатлеть ее — для будущих поколений.

Сегодня социальная научная фантастика трудных лет России пополнилась еще одним произведением Яна Ларри — «Небесным гостем».

Аэлита Ассовская

Дорогой носов писаря нович!

Иногда возникает мысль — зачем же писать. После одного оставшегося листа дела, после другого — все же исторически анекдоты. Один известен тем, что знал тысячи злодеев, другой — всеобщих и ничтожных бу-дничков, третий — замечательных хитов. Словом, тут каждого возлюблю, который не вставал бы в памяти не осужденный анжени судьба историческими случаями: лицами, животными, птицами.

Но ни у одной исторической личности не было еще своего писателя. Такого писателя, который писал бы только для одного великого человека. Впрочем и в истории литературы не найти таких писателей, у которых был бы один, единственный читатель..

И беру перо в руки чтобы возразить этот вопрос.

И буду писать только для Вас, но требуя для себя ни оправданья, ни Гонимых, ни восторгов, ни славы.

Возможно, что моя литературная способность не встретит Вашего одобрения, но за это, радясь, Вы не осудите меня как не осуждают людей за рыжий цвет волос или за выскорбленные губы. Осуждают за талантливости я постараюсь возместить усердием, добровольными отношениями и правдами: ни себя обязываю.

Дабы не усомниться в Вас и не написать Вам трагическое послание, доныне обилие случайных страниц и решил написать Вам свое первое послание: коротенький Гангем, чтобы написать что случилась и на в небольших дозах не только не угрожает здоровью, но чем правдиво даже замалчивает Дядю.

Вы никогда не узнаете много настоящего имени. Но и хотел бы чтобы Вы знали что есть в Ленинграде один чудак, который своеобразием проводит часы своего досуга — создается литературное произведение для единственного человека и что этот чудак, не предаваясь ни одного путного раздолья, решил единичностью КУИДЖАРИ.

В далекой Грузии, суматошавшие которой оправданы тем что это страна Дяди или Сталина, слова Куиджари означают только строгость и возможно Вы мне знаете значение его.

Куиджари.

ВЕЩДОК ПО ДЕЛУ ПИСАТЕЛЯ ЯНА ЛАРРИ

В конце 1940 года на имя Сталина была отправлена рукопись с письмом, которое хотелось бы привести полностью.

«Дорогой Иосиф Виссарионович!

Каждый великий человек велик по-своему. После одного остаются великие дела, после другого — веселые исторические анекдоты. Один известен тем, что имел тысячи любовниц, другой — необыкновенных Буцефалов, третий — замечательных шутов. Словом, нет такого великого, который не вставал бы в памяти, не окруженный какими-нибудь историческими спутниками: людьми, животными, вещами.

Ни у одной исторической личности не было еще своего писателя. Такого писателя, который писал бы только для одного великого человека. Впрочем, и в истории литературы не найти таких писателей, у которых был бы один-единственный читатель...

Я беру перо в руки, чтобы восполнить этот пробел.

Я буду писать только для Вас, не требуя для себя ни орденов, ни гонорара, ни почестей, ни славы.

Возможно, что мои литературные способности не встретят Вашего одобрения, но за это, надеюсь, Вы не осудите меня, как не осуждают людей за рыжий цвет волос или за выщербленные зубы. Отсутствие талантности я постараюсь заменить усердием, добросовестным отношением к принятым на себя обязательствам.

Дабы не утомить Вас и не нанести Вам травматического повреждения обилием скучных страниц, я решил посылать свою первую повесть коротенькими главами, твердо памятуя, что скука, как и яд, в небольших дозах не только не угрожает здоровью, но, как правило, даже закаляет людей.

Вы никогда не узнаете моего настоящего имени. Но я хотел бы, чтобы Вы знали, что есть в Ленинграде один чудак, который своеобразно проводит часы своего досуга — создает литературное произведение для единственного человека, и этот чудак, не придумав ни одного путного псевдонима, решил подписываться Кулиджары. В солнечной Грузии, существование которой оправдано тем, что эта страна дала нам Сталина, слово Кулиджары, пожалуй, можно встретить, и, возможно, Вы знаете значение его».



НЕБЕСНЫЙ ГОСТЬ

Социально-фантастическая повесть

Глава I

В одно прекрасное утро, незадолго до восхода солнца, над Парголовом показалась высоко в атмосфере огненная полоса, которая быстро, быстро приближалась к земле. Сотни дачников видели ее и приняли за обыкновенный метеорит.

Многие видели падение метеорита, но никого он особенно не заинтересовал, кроме моего соседа, Пулякина, прославившего себя и свой род изумительными способностями имитатора. Его неподражаемое искусство лаять по-собачьи было в свое время отмечено высокой правительственной наградой — орденом Красной Звезды.

Лишь только солнце появилось над горизонтом, Пулякин отправился разыскивать метеорит, так как был убежден, что место его падения находится где-нибудь около станции Парголово.

Убеждение это вполне оправдалось: метеорит был действительно найден около станции, недалеко от песочных ям. Пробив глубокую воронку в почве, он выбросил целые горы песка и гравия, образовавшие высокий вал вокруг этой воронки, видный километра за два. Кроме того, он зажег вереск на окрестном пустыре, и вереск этот тлел, пуская легкий дымок, тоже издали заметный на фоне ясного неба.

Подойдя поближе к глубокой яме, Пулякин с удивлением заметил, что метеорит имеет вид цилиндра, метров пять в диаметре.

Утро было ясное, теплое, тихое. Слабый ветерок едва колебал верхушки сосен. Птицы еще не проснулись или были уже уничтожены. Во всяком случае ничто не мешало Пулякину внимательно и добросовестно осмотреть сферический экипаж и прийти к заключению, с которым он помчался ко мне, теряя на бегу кульки, кулечки, мешки, сумки и сумочки, самые, так сказать, необходимые предметы вооружения нормального советского гражданина — потребителя сыпучих товаров, отпускаемых магазинами лишь в тару покупателей.

Пулякин ворвался ко мне, как ураган. Опрокидывая стулья, он выпалил единым духом:

— У нас валяется на пустыре за станцией какой-то небесный гражданин! Только что упал. Пойдем скорее. Захватите свой револьвер на всякий случай. Может быть, он упал к нам с какими-нибудь агрессивными намерениями. Осторожность, знаете, никогда не помешает.

Через пять минут мы мчались с Пулякиным с быстротой людей, покидающих дома отдыха вследствие сугубой диеты, и вскоре подбежали к месту приземления межпланетного трамвая.

Около ямы уже стояло человек двадцать любопытных. Какой-то воспитанный гражданин уговаривал всех встать в очередь и организованно ожидать дальнейшего разворота событий. Но граждане попались несознательные, а поэтому воспитанный человек махнул рукой и сам принялся вести себя неорганизованно.

Вдруг кто-то крикнул: «Капусту дают!» Любопытных тотчас же как будто ветром сдуло. Толкая друг друга, они помчались, вытаскивая на бегу старые газеты для завертки этого тропического лакомства!

Мы остались с Пулякиным вдвоем. Мой сосед вздохнул и сказал:

— Когда я был маленький, в России было столько капусты и свежей и кислой, что никто даже не знал, что с ней делать.

— Вы, Пулякин,— сказал я,— не учитываете возросшего спроса на кислую капусту. Мы все теперь живем зажиточной жизнью, и поэтому каждый из нас в состоянии купить для себя кислую капусту, которая раньше была предметом потребления миллионеров. Однако смотрите, что делается с этим снарядом.

Верхняя часть цилиндра начала вращаться. Показались блестящие нарезы винта. Послышался приглушенный шум, как будто не то входил, не то выходил воздух с довольно сильным свистом. Наконец верхний конус цилиндра качнулся и с грохотом упал на землю. За края цилиндра изнутри вцепились человеческие руки, и над цилиндром всплыла, качнувшись, голова человека. Смертельная бледность покрывала его лицо. Он тяжело дышал. Глаза его были закрыты. Мы бросились с Пулякиным к незнакомцу и, наступая друг другу на мозоли, помогли ему выбраться из цилиндра.

Так появился у меня марсианин, о пребывании которого я написал целую книгу.

Оказывается, на Марсе все прекрасно говорят на русском языке, а поэтому мы уже через час весело болтали о разных пустяках.

Конечно, я рассказал ему всю историю человечества, познакомил его с классово-борьбой и подробно описал государственный строй в нашей стране. В свою очередь марсианин сообщил мне историю Марса, которая оказалась похожей на историю Земли, и закончил свой рассказ сообщением о том, что у них на Марсе советское государство существует уже 117 лет, что меня чрезвычайно обрадовало, так как марсианин мог, стало быть, поделиться с нами богатейшим опытом. Я показал небесному гостю газеты, и, к моему удивлению, он бойко начал читать их на чисто русском языке. Он начал читать с увлечением, но скоро вся его бойкость исчезла. Зевота начала раздирать рот марсианина на две половины. Я совсем упустил из виду, что он не житель советской страны, а поэтому, очевидно, читает все подряд.

Прикрывая рот ладонью, марсианин сказал, зевая:

— А скучноватая у вас жизнь на Земле. Читал, читал, но так ничего и не мог понять. Чем вы живете? Какие проблемы волнуют вас? Судя по вашим газетам, вы только и занимаетесь тем, что выступаете с яркими, содержательными речами на собраниях да отмечаете разные исторические даты и справляете юбилеи. А разве ваше настоящее так уж отвратительно, что вы ничего не пишете о нем? И почему никто из вас не смотрит в будущее? Неужели оно такое мрачное, что вы боитесь заглянуть в него?

— Не принято у нас смотреть в будущее.

— А, может быть, у вас ни будущего, ни настоящего?

— Что вы? Вы только посмотрите — я завтра сведу вас в кино на фильм «День нового мира» — как интересна и содержательна наша жизнь. Это не жизнь, а поэма.

— Не понимаю в таком случае, почему же все это не находит своего отражения в газетах.

— Вы не одиноки,— сказал я,— мы тоже ничего не понимаем.

Марсианин собирался задать мне еще кучу неприятных вопросов, но, на мое счастье, в эту минуту в открытое окно влетел грязный лапоть и шлепнулся прямо в тарелку с душистой земляникой.

— Что это? — испуганно вскочил марсианин.

— Сидите,— сказал я спокойно,— ничего особенного не случилось. Просто наша молодежь решила пошутить

с нами. Они у нас вообще весьма оригинально развлекаются.

— Простите,— в замешательстве сказал марсианин,— но я совсем не понимаю соли этих развлечений. Кто у вас воспитывает молодежь?

— У нас есть лозунг: спасение утопающих — есть дело самих утопающих. По этому же принципу построено и все воспитание подростков. Они сами воспитывают себя.

— Вы шутите?

— Мы плачем, но что же делать... Так уж все это разумно у нас устроено. Молодежь у нас воспитывают комсомольцы.

— Они педагоги, надеюсь?

— Напрасно надеетесь. Они не только не имеют никакого представления об этой науке, но некоторые из них вообще не слишком сильны в грамоте. (...)

— Но что это за организация?

— Это нечто вроде рудиментарного органа советской власти. Память о тех далеких временах, когда у нас были комитеты бедноты, женотделы и совсем не было государственной системы воспитания детей. Ну, а раз сохранилась эта древняя организация — так надо же поручить ей какую-нибудь работу. (...)

— А не ведет ли этот комсомол политического воспитания детей?

— Вот, вот,— обрадовался я,— именно политического. Они собирают детей 10—12 лет и «прорабатывают» с ними доклады вождей, «знакомят» с Марксом: «затрагивают» вопросы диалектического развития общества. (...)

— А не обидятся ли комсомольцы, если упразднят их организацию?

Я даже захохотал.

— Вы действительно упали с Марса,— сказал я.— За что же им обижаться? Наоборот, за исключением аппаратчиков, все они будут очень рады этому. (...)

Марсианин вздохнул и сказал:

— Н-да. Как видно, у вас многое еще нуждается в исправлении.

— Конечно,— согласился я,— ведь мы же строим новое общество, и было бы очень странно, если бы у нас все шло без сучка и задоринки. Как нельзя сделать самую простую рукоятку лопаты без отходов, без стружки, так нельзя сделать ничего нового, чтобы не было никаких производственных издержек.

2 кучебиса
(1 стр)

НЕВЕСНИЙ ГОСТЬ.

СОЦИАЛЬНО-ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

2 Глава II 2

На другой день я сказал марсианину:

- Вы хотели знать причины нашей бедности? Прочтите!

И я протянул ему газету.

Марсианин прочитал громко:

На Восточном острове находится артель «Общественный домик». Она имеет всего один производственный цех, в котором занято лишь 18 рабочих.

Кажется, чтобы управлять такой «маленькой» артелью, вполне достаточно одного начальника цеха, бухгалтеря и учителя. В действительности же здесь создан промышленный аппарат. Имеются производственный отдел с заместителем, главный производственный отдел, главный бухгалтер с заместителем и штатом бухгалтеров, главный инженер с заместителем, секретарь и т. д. У каждого — возложенная должность сложного труда.

На 18 производственных рабочих с месячной фонды заработной платы в 4,5 тысячи рублей артель имеет: 23 служащих, зарплата которых составляет 20,5 тысячи рублей, 22 человека обслуживающего персонала и 10 человек школьно-старшеклассников.

Важнейшие - коллективные управленческие аппараты артели безусловно имеют быть устранены. Для этого надо только ликвидировать артели, а не посылать рабочих перенять коллективный аппарат «Рабочий домик», ликвидировав в поселке Прогрессов, районе.

Это позволяет сэкономить по крайней мере около 250 тысяч рублей в год. Значительно снизилась себестоимость продукции. За счет освобожденного производственного помещения может быть расширен производственный аппарат артели.

Организовать, подобные артели «Общественный домик», — не трудно.

Полная и абсолютная работа по сокращению административно-управленческого аппарата и ликвидации артели можно провести эффект только тогда, когда в этой работе не участвуют и по существу правит участие Гурба и Губина.

ГРУБИН,

старший инженер Всесоюзного центра радио

МИРОЗОВА,

инженер Всесоюзного центра радио Габина

- Это, конечно, классичка, - сказал я, - но это пример не единственный и что всего обиднее это то, что кто бы не писал, чем бы не писал, а толку из этого не выйдет до тех пор пока не будет распространения свавле о ликвидации в подобного рода безобразиях. Не думайте, однако, что все дело заключается в этой злополучной артели. Такие безобразия рассеяны повсюду. Можно назвать тысячи ненужных учреждений и разного рода надстроек, которые занимают в народном хозяйстве штатную должность тех самых семи тысяч фарфоровых воров, которые похищали марши. Словом, все это сводится к тому, что в нашей стране слишком много лишнего. Во всяком случае их значительно больше, чем у нас.

— Но живете ли вы лучше, чем живут в капиталистических странах?

— Наша жизнь — настоящая осмысленная жизнь человека-творца. И если бы не бедность — мы жили бы как боги. (...)

Глава II

На другой день я сказал марсианину:

— Вы хотели знать причины нашей бедности? Прочтите!

И протянул ему газету.

Марсианин прочитал громко:

«На Васильевском острове находится артель „Объединенный химик“. Она имеет всего один краскотерочный цех, в котором занято лишь 18 рабочих. (..)

На 18 производственных рабочих с месячным фондом зарплаты в 4,5 тысячи рублей артель имеет: 33 служащих, зарплата которых составляет 20,8 тысячи рублей, 22 человека обслуживающего персонала и 10 человек пожарно-сторожевой охраны. (...)»

— Это, конечно, классика, — сказал я, — но этот пример не единичный, — и что всего обиднее — это то, что кто бы ни писал, как бы ни писал, а толку из этого не выйдет до тех пор, пока не будет дано распоряжение свыше о ликвидации подобного рода безобразий. (...)

Если бы завтра Иосиф Виссарионович Сталин сказал:

— А ну-ка, хлопцы, поищите, прошу вас, получше, — нет ли в нашей стране ненужных учреждений.

Если бы вождь так сказал, то я уверен, что уже через неделю 90% наших учреждений, отделов, контор и прочегохлама оказались бы совершенно ненужными. (...)

Причиной бедности является также гипертрофическая централизация всего нашего аппарата, связывающая по рукам и ногам инициативу на местах. (...)

Но все это еще полбеда. Хуже всего, что эта чудовищная опека обедняет нашу жизнь. Случилось так, что Москва стала единственным городом, где люди живут, а все остальные города превратились в глухую провинцию, где люди существуют только для того, чтобы выполнять распоряжения Москвы. Немудрено поэтому, что провинция кричит истерически, как чеховские сестры: в Москву, в Москву! Предел мечтаний советского человека — жизнь в Москве. (...)

Глава III

Пришли ко мне в гости на чашку чая художник, инженер, журналист, режиссер и композитор. Я познакомил всех с марсианином. Он сказал:

— Я — человек новый на Земле, а поэтому мои вопросы вам могут показаться странными. Однако я очень просил бы вас, товарищи, помочь мне разобраться в вашей жизни. (...)

— Пожалуйста,— сказал очень вежливо старый профессор,— спрашивайте, а мы ответим вам так откровенно, как говорят теперь в нашей стране люди только наедине с собой, отвечая на вопросы своей совести.

— Вот как? — изумился марсианин,— значит в вашей стране люди лгут друг другу?

— О, нет,— вмешался в разговор инженер,— профессор не совсем точно, пожалуй, изложил свою мысль. Он хотел, очевидно, сказать, что в нашей стране вообще не любят откровенничать.

— Но если не говорят откровенно, значит, лгут?

— Нет,— снисходительно улыбнулся профессор,— не лгут, а просто молчат. (...) А хитрый враг избрал себе сейчас другую тактику. Он говорит. Он изо всех сил лезет, чтобы доказать, что у нас все благополучно и что для беспокойств нет никаких оснований. Враг прибегает сейчас к новой форме пропаганды. И надо признать, что враги советской власти гораздо подвижнее и изобретательнее, чем наши агитаторы. Стоя в очередях, они кричат провоцирующим фальцетом о том, что все мы должны быть благодарны партии за то, что она создала счастливую и радостную жизнь. (...) Я помню одно дождливое утро. Я стоял в очереди. Руки и ноги мои околели. И вдруг мимо очереди идут два потрепанных гражданина. Поравнявшись с нами, они запели известную песенку с куплетами «спасибо великому Сталину за нашу счастливую жизнь». Вы представляете, какой это имело «успех» у продрогших людей. Нет, дорогой марсианин, враги сейчас не молчат, а кричат, и кричат громче всех. Враги советской власти прекрасно знают, что говорить о жертвах — это значит успокоить народ, а кричать о необходимости благодарить партию — значит, издеваться над народом, плевать на него самого, оплевывать и ту жертву, которую народ приносит сейчас.

— В вашей стране много врагов? — спросил марсианин.

— Не думаю,— ответил инженер,— я скорее склонен думать, что профессор преувеличивает. По-моему, настоящих врагов совсем нет, но вот недовольных очень много. Это верно. Также верно и то, что количество их увели-

чивается, растет, как снежный ком, приведенный в движение. Недовольны все, кто получает триста-четыреста рублей в месяц, потому что на эту сумму невозможно прожить. Недовольны и те, кто получает очень много, потому что они не могут приобрести себе то, что им хотелось бы. Но, конечно, я не ошибусь, если скажу, что всякий человек, получающий меньше трехсот рублей, уже не является большим другом советской власти. Спросите человека, сколько он получает, и если он скажет «двести» — можете говорить при нем все что угодно про советскую власть.

— Но, может быть,— сказал марсианин,— труд этих людей и стоит не больше этих денег.

— Не больше? — усмехнулся инженер.— Труд многих людей, получающих даже пятьсот рублей, не стоит двух копеек. Они не только не отработывают этих денег, но нужно бы с них самих получать за то, что они сидят в теплых помещениях.

— Но тогда они не могут обижаться ни на кого! — сказал марсианин.

— Вам непонятна психология людей Земли,— сказал инженер.— Дело в том, что каждый из нас, выполняя даже самую незначительную работу, проникается сознанием важности порученного ему дела, а поэтому он и претендует на приличное вознаграждение. (...)

— Вы правы,— сказал профессор,— я получаю 500 рублей, то есть примерно столько же получает трамвайный вагоновожатый. Это, конечно, очень оскорбительная ставка. (...)

Не забудьте, товарищи, что ведь я профессор и что мне надо покупать книги, журналы, выписывать газеты. Ведь не могу же я быть менее культурным, чем мои ученики. И вот мне приходится со всей семьей работать для того, чтобы сохранить профессорский престиж. Я сам неплохой токарь; через подставных лиц я беру на дом заказы от артелей. Моя жена преподает детям иностранные языки и музыку, превратив нашу квартиру в школу. Моя дочь ведет домашнее хозяйство и раскрашивает вазы. Все вместе мы зарабатываем около шести тысяч в месяц. Но никого из нас не радуют эти деньги. (...)

— Почему? — спросил марсианин.

— Просто потому,— сказал профессор,— что большевики ненавидят интеллигенцию. Ненавидят какой-то особенной, звериной ненавистью.

— Ну,— вмешался я,— вот уж это вы напрасно, дорогой профессор. Правда, недавно так оно и было. Но ведь потом была проведена даже целая кампания. Я помню выступления отдельных товарищей, которые разъясняли, что ненавидеть интеллигенцию нехорошо.

— Ну и что же? — усмехнулся профессор.— А что изменилось с тех пор? Было вынесено решение: считать интеллигенцию полезной общественной прослойкой. И на этом все кончилось. (...) Большинство же институтов, университетов и научных учреждений возглавляют люди, не имеющие никакого представления о науке.

— А знаете,— засмеялся инженер,— недоверие и ненависть к интеллигенции сеют именно эти люди. Подумайте-ка, профессор, что будет с ними, когда партия решит, что ей можно обойтись без посредников в ее сношениях с работниками науки. Они кровно заинтересованы в том, чтобы поддерживать ненависть и недоверие к интеллигенции.

— А может быть, вы и правы,— задумчиво сказал профессор,— но я не на это хотел обратить ваше внимание. (...) Хуже другое. Хуже всего то, что наш труд не находит у большевиков одобрения, а так как печатью, общественным мнением распоряжаются они, то в нашей стране случилось так, что никто не знает своих ученых, никому неизвестно, над чем они работают, над чем они собираются работать. И это происходит в стране, которая гордится своей тягой к культуре. (...)

У советской интеллигенции, конечно, есть свои запросы, естественное для всей интеллигенции мира стремление к знаниям, к наблюдениям, к познанию окружающего мира. Что же делает или что сделала партия для удовлетворения этой потребности? А ровным счетом ничего. Мы даже не имеем газет. Ведь нельзя же считать газетой то, что выпускается в Ленинграде. Это скорее всего — листки для первого года обучения политграмоте, это скорее всего перечень мнений отдельных ленинградских товарищей о тех или иных событиях. Сами же события покрыты мраком неизвестности. (...)

Большевики упразднили литературу и искусство, заменив то и другое мемуарами да так называемым «отображением». Ничего более безыдейного нельзя, кажется, встретить на протяжении всего существования искусства и литературы. Ни одной свежей мысли, ни одного нового слова не обнаружите вы ни в театре, ни в литературе. (...)

Я думаю, что во времена Иоанна Первопечатника выходило книг больше, чем сейчас. Я не говорю о партийной литературе, которую выбрасывают ежедневно в миллионах экземпляров. Но ведь насильно читать нельзя заставить, поэтому все эти выстрелы оказываются холостыми.

— Видите ли,— сказал я,— книг и журналов в нашей стране выходит мало, потому что нет бумаги.

— Что вы говорите глупости,— рассердился профессор.— Как это нет бумаги? У нас посуду и ведра делают из бумаги. У нас бумагу просто не знают, куда девать. Вон даже додумались до того, что стали печатать плакаты и развешивать всюду, а на плакатах мудрые правила: Когда уходишь — туши свет. Мой руки перед едой! Вытирай нос. Застегивай брюки. Посещай уборную. Черт знает что! (...)

— Дозвольте! — крикнул чей-то голос.

Мы повернулись к окну.

На нас глядел высокий, гладко выбритый человек без фуражки. На плече человека лежала шляпа и уздечка.

— Мы из колхоза,— сказал незнакомец.— Прослушав претензии уважаемого товарища ученого неизвестной фамилии, хочу также присоединить и свой голос протеста против разных непорядков. (...)

Глава IV

— Я скажу вам так, товарищи,— начал свою речь колхозник,— сверху когда глядишь, так многих мелочей не замечаешь, и оттого все кажется тебе таким прелестным, что душа твоя просто пляшет и радуется. Помню, гляжу я как-то с горы вниз, в долину к нам. Вид у нас сверху удивительно веселый. Речка наша, прозванная Вонючей, извивается, ну как будто на картинке. Колхозная деревня так и просится на полотно художника. И ни грязи-то, ни пыли, ни мусора, ни щебня — ничего этого за дальностью расстоянья никак невозможно заметить невооруженным глазом.

То же и у нас в колхозах. Сверху оно, может, и в самом деле похоже на райскую долину, но внизу и вчера и сегодня пахнет еще адовой гарью. (...) И вот у нас сейчас есть полный разброд мыслей в деревне. Спросить бы у кого. Но как спросить? Арестуют! Сошлют! Скажут, кулак или еще чего-нибудь. Не дай Бог злему татарину повидать того, что мы уже видели. Ну, так и говорю: многое узнать

бы хотелось и боязно спросить. Вот мы и обсуждаем в деревнях свои дела между собой потихоньку. (...) А главное, мы хотим, чтобы над нами был закон какой-нибудь. Вот и ответь тут им. Попробуй.

— Однако,— сказал журналист,— законы у нас есть, и этих законов предостаточно.

Колхозник поморщился и тяжело вздохнул:

— Эх, товарищи,— сказал он,— какие это законы, когда ты не успеешь еще его прочитать, а тут, говорят, ему и отмена уже пришла. За что у нас в деревне больше всего не уважают большевиков? А за то, что у них на неделе семь пятниц. (...)

— Что же,— сказал инженер,— пожалуй, и для нас, людей города, нужны устойчивые, крепкие законы. И у нас бывают недоразумения из-за слишком частой смены законов, установлений, постановлений, положений и прочее и прочее. Товарищ прав. Закон должен быть рассчитан на продолжительное действие. Менять законы как перчатки не годится хотя бы потому, что это ведет к подрыву авторитета законодательных учреждений.

— И опять же,— сказал колхозник,— если ты выпустил закон — так будь добр уважай его сам. А то законов (хороших, скажу, законов) у нас много, а какой толк от этого? Уж лучше бы совсем не выпускали хороших законов.

— Прав! Прав он! — вскричал профессор.— Именно то же самое говорят и в нашей среде. Взять хотя бы, к примеру, самый замечательный, самый человеческий свод законов — нашу новую конституцию. Ну зачем, спрашивается, ее обнародовали? Ведь многое сейчас из этой конституции является источником недовольства, многое вызывает муки Тантала. Как это ни печально, а конституция превратилась в тот красный плащ, которым матадор дразнит быка.

— А самое забавное,— сказал молчавший до этого литератор,— это то, что все, даже самые опасные в кавычках статьи новой конституции легко можно превратить в действующие статьи закона. Вот, например, свобода печати. У нас свобода эта осуществляется с помощью предварительной цензуры. То есть никакой по существу свободы нам не дано. (...)

— Однако,— сказал колхозник,— меня, так сказать, разные там свободы печати очень мало интересуют. И поскольку я тороплюсь, я прошу выслушать меня. Я сейчас

закруглюсь. Не задержу вашего внимания. Ну, значит, так: про закон я сказал кое-что. Теперь хочу про другое сказать. Про интерес к работе. Я уже говорил, что все у нас недовольны. Не подумайте, однако, что мечтаем мы о возврате к старому, единоличному хозяйству. Нет. Туда нас не тянет. Но вот о чем задумайтесь. Мы-то кто? Хозяева мы! Собиратели добра! На том построено все нутро наше. И сам, бывало, один работаешь, и с большой семьей, а все равно смотришь на хозяйство как на свое. Мы, и артельно работая, хотели бы рассматривать все хозяйство как свое собственное.

— Ну и рассматривайте,— сказал профессор,— кто же вам мешает?

— Эх, товарищ — ученый человек,— махнул рукой колхозник,— как же можно у нас глядеть на свое хозяйство по-хозяйски, когда тебя десять раз в день ставят к порогу, вроде батрака. Пожили бы годик в деревне — так увидели, сколько развелось над нами начальников. Ей-богу, шею не успеваешь поворачивать да подставлять. Один не успеет тюкнуть, а глядишь, и другой уже тянется. Дай-ка, говорит, и я попробую. (...)

Профессор поморщился и сказал:

— Ну, а если снять с вас эту мелочную опеку, а вы перестанете выполнять планы, да и вообще черт знает что натворите?

— Напрасно так думаете,— обиделся колхозник.— Пусть нам хоть на один год руки развяжут. Пусть дадут нам возможность развернуться — и государству была бы от этого польза, и нам бы не пыльно зажилося. (...)

**Ленинградские литераторы,
подвергшиеся незаконным репрессиям
(Тюрьма. Лагерь. Ссылка)
в 1921—1953 годах**

Аалто Вяйне Иванович	1899—1938
Абрамович-Блэк Сергей Иванович	1895—1942
Адамович Олег	?—1937
Аль (Альшиц) Даниил Натанович	род. 1919
Андреев Василий Михайлович	1889—1942
Баршев Николай Валерьянович	1888—1938
Бахтерев Игорь Владимирович	род. 1908
Безбородов Сергей Константинович	1903—1937
Белицкий Георгий Еремеевич	1905—1938
Белых Григорий Георгиевич	1906—1938
Берггольц Ольга Федоровна	1910—1975
Берзин Юлий Соломонович	1904—1942
Берков Павел Наумович	1896—1969
Бескина Анна Абрамовна	1903—1937
Бобрищев-Пушкин Александр Владимирович	1875—1937
Борисоглебский Михаил Васильевич	1896—1942
Боронина Екатерина Алексеевна	1907—1955
Брик Борис Ильич	род. 1904
Брыкин Николай Александрович	1895—1979
Буш Владимир Владимирович	1898—1937
Васильева Раиса Родионовна	1902—1938
Введенский Александр Иванович	1904—1941
Вейден Лео	
Венус Георгий Давыдович	1898—1939
Владимилова Елена Львовна	1902—1962
Войтинская Надежда Савельевна	1886—1965
Выгодский Давид Исаакович	1893—1943
Гаген-Торн Нина Ивановна	1900—1986
Глезель (Глес) Самуил Маркович	1910—1937
Гнедич Татьяна Григорьевна	1907—1976
Горбачев Георгий Ефимович	1897—1942
Горелов Анатолий Ефимович	1904—1992
Грабарь (Шполянский) Леонид Юрьевич	1896—1937
Губер Петр Константинович	1886—1940
Гуковский Григорий Александрович	1902—1950
Гумилев Николай Степанович	1886—1921
Демьянов Иван Иванович	1914—1991

Дитрих Георгий Станиславович	1906—1943
Дичаров (Дич) Захар Львович	род. 1912
Днепров Владимир Давыдович	1903—1992
Дрейден Симон Давыдович	род. 1905
Дьяконов Михаил Алексеевич	1885—1938
Еленский Николай Октавиевич	1868—1939
Заболоцкий Николай Алексеевич	1903—1958
Зоргенфрей Вильгельм Александрович	1882—1938
Зуев-Ордынец Михаил Ефимович	1900—1967
Зуккау Герберт Августович	1883—1938
Ионов (Бернштейн) Илья Ионович	1887—1942
Иринин (Журавлев) Михаил Степанович	1908—1936
Калнынъ Ян Антонович	1902—1938
Камегулов Анатолий Дмитриевич	1900—1937
Кикутс Петр (Петерис) Рудольфович	1907—1938
Кириллов Алексей Андреевич	1903—1937
Клещенко Анатолий Дмитриевич	1921—1974
Клюев Николай Алексеевич	1884—1937
Князев Василий Васильевич	1887—1937
Колбасьев Сергей Адамович	1898—1937
Константинов (Боголюбов) Константин Николаевич	1905—1943
Корнилов Борис Петрович	1907—1938
Куклин Георгий Осипович	1903—1939
Ларри Ян Леопольдович	1900—1977
Лившиц Бенедикт Константинович	1886—1938
Лихачев Дмитрий Сергеевич	род. 1906
Лозинский Залман Борисович	
Майзель Михаил Гаврилович	1899—1937
Мандельштам Исай Бенедиктович	1885—1954
Мандельштам Осип Эмильевич	1891—1938
Матвеев Владимир Павлович	1897—1935
Медведев Павел Николаевич	1891—1938
Михайлов Игорь Леонидович	род. 1913
Моргулис Александр Осипович	1898—1938
Мустангова (Рабинович) Евгения Яковлевна	1905—1937
Одулок Тэки (Спиридонов Николай Иванович)	1906—1938
Оксман Юлиан Григорьевич	1895—1970
Олейников Николай Макарович	1895—1942
Ольшевский Александр Александрович	1878—1951
Остров Дмитрий Константинович	1906—1971
Пиотровский Андриан Иванович	1898—1937
Пунин Николай Николаевич	1888—1953

Радищев Леонид Петрович	1904—1973
Радлова Анна Дмитриевна	1891—1949
Рахмилович-Южин Давид	
Рыкова Надежда Януарьевна	род. 1901
Саволайнен Георгий Израилевич	1899—1937
Свирин Николай Григорьевич	1900—1938
Скоринко Иван Владимирович	1900—1941
Соколов Василий Андреевич	1908—1991
Сорокин Григорий Эммануилович	1898—1954
Спасский Сергей	1898 — нет свед.
Старчаков Александр Осипович	1893—1937
Стенич (Сметанич) Валентин Осипович	1897—1939
Сысоев Анатолий	род. 1906
Тагер Елена Михайловна	1895—1964
Тверяк (Соловьев) Алексей Артемьевич	1900—1937
Трейн Карл Карлович	
Уксусов Иван Ильич	1905—1991
Фролов Вадим Григорьевич	род. 1918
Хармс (Ювачев) Даниил Иванович	1905—1942
Чертков Давид Константинович	1885—1958
Четвериков Борис Дмитриевич	1896—1981
Чистяков Александр Степанович	1896—1938
Шабанов Александр Афанасьевич	1900—1941
Шилин Георгий Иванович	1896—1941
Штейнман Зелик Яковлевич	1907—1967
Эйдук Ян Юрьевич	1897—1938
Эрлих Вольф Иосифович	1902—1944
Юркун Осип (Юрий) Иванович	1895—1938
Ярвелейнен Г. Э.	1896 — нет свед.

СОДЕРЖАНИЕ

Молчать нельзя! <i>Захар Дичаров</i>	
Вяйне Иванович Аалто	
Сергей Иванович Абрамович-Блэк Размеры человеческой жизни. <i>Сергей Соловьев</i>	
Василий Михайлович Андреев «На все есть слово...» <i>Владимир Бахтин</i>	
Николай Валерьянович Баршев	
Сергей Константинович Безбородов «В этой книге — все правда...» <i>Елена Щеглова</i>	
Георгий Еремеевич Белицкий	
Павел Наумович Берков	
Григорий Георгиевич Белых «Путь наш длинен и суров...» <i>Евгения Путилова</i>	
Ольга Федоровна Берггольц «И снова буду жить...» <i>Наталья Банк</i>	
Анна Абрамовна Бескина	
Александр Владимирович Бобрищев-Пушкин	
Михаил Васильевич Борисоглебский	
Екатерина Алексеевна Боронина Не год прошел, а целый век. <i>Захар Дичаров</i>	
Николай Александрович Брыкин Изломы одной судьбы. <i>Захар Дичаров</i>	
Раиса Родионовна Васильева Юность ее Комсомола. <i>Александра Любарская</i>	
Александр Иванович Введенский Чинарь Александр Введенский. <i>Евгений Биневиц</i>	
Георгий Давыдович Венус Мой отец Георгий Венус. <i>Борис Венус</i>	
Елена Львовна Владимирова Лена — солдат революции. <i>Анатолий Горелов</i>	
Надежда Савельевна Войтинская	
Давид Исаакович Выгодский «И все перестрою, как надо...» <i>Владислав Шошин</i>	
Нина Ивановна Гаген-Торн Седьмое небо. <i>Виталий Шенталинский</i>	
<i>Н. Гаген-Торн. Из книги воспоминаний</i>	
Самуил Маркович Глезель	
Татьяна Григорьевна Гнедич Подвиг. <i>Галина Усова</i>	
<i>Татьяна Гнедич. Из венка сонетов «Поэту»</i>	
Георгий Ефимович Горбачев Воитель из ЛАППа. <i>Лиана Ильина</i>	
Леонид Юрьевич Грабарь	
Петр Константинович Губер	

Григорий Александрович Гуковский	181
Человеческое достоинство и его недруги. <i>Елена Фролова</i>	183
Николай Степанович Гумилев	191
Шагреневые переплеты. <i>Олег Хлебников</i>	192
Ян Леопольдович Ларри	212
Как писатель Ян Ларри Сталина просвещал. <i>Аэлита Ассовская</i>	214
Вещдок по делу писателя Яна Ларри	221
<i>Ян Ларри</i> . Небесный гость. Социально-фантастическая повесть	223
 Ленинградские литераторы, подвергшиеся незаконным репрессиям	 235

Литературно-художественное издание

Распятие

**Писатели —
жертвы
политических
репрессий**

Автор-составитель
Захар Львович Дичаров

Выпуск 1

ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

Редактор *Валентина Винокурова*
Художник *Вячеслав Михневич*
Технический редактор *Адель Этина*
Корректор *Михаил Ростик*

Сдано в набор 12.01.93. Подписано в печать 12.04.93. Формат
84 × 108¹/₃₂. Гарнитура литературная. Печать офсетная. Усл. печ.
л. 12,6. Тираж 2000 экз. Изд. № 186. Заказ № 61.

Издательство «Северо-Запад».
191187, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 18.

ПО-3, Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 55



Дичаров Захар Львович — писатель, журналист. Автор романов «Хановой», «Тайна острова Эль-Парансо», повестей «Снова февраль», «Под волнами Югарки», «13 шапок», многих рассказов, очерковых книг «По эту сторону океана», «В страну таежных следопытов», «Омоложенный гигант» и др.

Захар Дичаров — организатор, составитель и один из авторов книжной серии «Распятые. Писатели — жертвы политических репрессий», руководит Историко-мемориальной комиссией Союза писателей Санкт-Петербурга.

Ранее им была подготовлена книга «До последней минуты... Памяти ленинградских писателей, погибших на фронтах Отечественной войны 1941—1945 гг.»

З. Л. Дичаров — автор-составитель книги «Голоса из блокады» — о писателях, ставших жертвами блокадных лишений.

Еще одна книга — «От имени живых...», — подготовленная Дичаровым, содержит воспоминания ленинградских писателей, испытавших незаконные репрессии.

8 сентября 1937 года Захар Дичаров, студент 2-го курса исторического факультета Ленинградского университета, был арестован. В обвинение ему было вменено «участие в подпольной троцкистской организации». По приговору Особого Совещания при НКВД СССР за совершение преступлений, предусмотренных статьями 17, 58-8, 58-10 ч. 1, 58-11 УК РСФСР (соучастие в террористической деятельности, контрреволюционная агитация и пропаганда) подвергнут длительным политическим репрессиям: 19 лет тюрем, лагеря, ссылки.

Полностью реабилитирован в 1956 году.

В 1958 году экстерном закончил Ленинградский университет.

Член Союза писателей Санкт-Петербурга, член Санкт-Петербургского Союза журналистов.